

«ФИЛОСОФСКИЕ РАССКАЗЫ» (1939–1946) ВСЕВОЛОДА ПЕТРОВА

(Публикация М. Э. Маликовой)

Советский искусствовед Всеволод Николаевич Петров (1912–1978), специалист по художникам-мирискусникам и русской скульптуре XIX в.,¹ в истории литературы известен прежде всего как знакомец 1930-х гг. Михаила Кузмина, Даниила Хармса, Николая Пунина и Анны Ахматовой. Вс. Петров оставил написанные в конце 1960-х гг. воспоминания о них, востребованные исследователями, а также сделал списки и сохранил автографы стихотворений этих и других поэтов того же круга, отложившиеся в его архиве (РО ИРЛИ, ф. 809).² Собственное литера-

¹ См.: *Петров В. Н. Очерки и исследования: Избранные статьи о русском искусстве XVIII–XX вв.* / Вступ. ст. Д. В. Сарабянова. М., 1978; там же (с. 290–291) краткая автобиография автора. См. также статью Вс. Петрова о его учителе «Н. Н. Пунин и его искусствоведческие работы» в: *Пунин Н. Н. Русское и советское искусство*. М., 1976. С. 7–32.

² См. публикации из не законченной Вс. Петровым «Книги воспоминаний»: 1) Калиостро: Воспоминания и размышления о М. А. Кузмине / Публ. Г. Шмакова // *Новый журнал* (Нью-Йорк). 1986. Кн. 163. С. 81–116; 2) Воспоминания о Хармсе / Публ. А. А. Александрова // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год*. СПб., 1993. С. 189–201; 3) *Фонтанный Дом // Наше наследие*. 1988. №. 4. С. 103–108; 4) *Встречи с Н. А. Тырсой // Панорама искусств*. М., 1980. С. 128–142; 5) *Турдейская Манон Леско. История одной любви: Повесть; Воспоминания*. СПб., 2016. Также см. публикации материалов других авторов из архива Вс. Петрова: *Материалы о Данииле Хармсе и стихи его в фонде В. Н. Петрова* / Публ. А. А. Александрова // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1990 год*. СПб., 1993. С. 201–213; *Тимофеев А. Г.* Материалы М. А. Кузмина в Рукописном отделе Пушкинского Дома // *Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского Дома на 1991 год*. СПб., 1994. С. 61–62; *М. Кузмин*. Влюбленный дьявол. Пантомима / Публ. А. Г. Тимофеева // Там же. С. 202–208; «Бытие на фоне быта»: *Дневники И. П. Ювачева 1930–1932, 1932, 1932–1933 и 1937 гг.* (вступ. статья Н. М. Кавина; публ. А. Л. Дмитренко и Н. М. Кавина) в «Ежегодниках Рукописного отдела Пушкинского Дома» на 2009–2010, 2011, 2012 и 2013 гг. Также в архиве Вс. Петрова имеются списки и автографы «Поэмы без героя» и «Реквиема» А. Ахматовой, цикла стихотворений К. Вагинова «Звукоподобие», отдельные, в основном стихотворные, произведения Д. Хармса,

турное творчество Петрова привлекло некоторое внимание с публикацией в 2006 г. в «Новом мире» его написанной в 1946 г. повести «Турдейская Манон Леско», о необычности которой в ряду советской военной прозы говорят уже ключевые для ее поэтики посвящение «памяти Михаила Алексеевича Кузмина» и подзаголовок «трагическая пастораль».³ «Турдейская Манон Леско» была многообещающе представлена современному читателю С. А. Бочаровым: «Из тайников словесности мы получаем прозу классического свойства».⁴

Действительно, в последние годы на поверхность литературной жизни неожиданно всплыл из тайников семейных архивов корпус текстов из той дисперсной ленинградской среды 1930–1940-х гг., к которой можно причислить и Вс. Петрова, культурно ориентированной силовыми полями Михаила Кузмина и Даниила Хармса. После публикации написанных в войну и блокаду стихов Геннадия Гора и прозы Павла Зальцмана⁵ стало уже общим критическим местом, что именно абсурдистская обэриутская поэтика оказалась наиболее адекватной для описания этого катастрофического и беспрецедентного исторического и антропологического опыта. Что касается круга позднего Михаила Кузмина⁶ – молодых людей, регулярные посещения которых зафиксированы в его знаменитом дневнике 1934 г., то такие литературные факты, как великолепное художественное наследие Андрея Егунова (Николева),⁷

А. И. Введенского, Н. М. Олейникова, А. Н. Егунова, О. Э. Мандельштама, В. И. Стенича, А. М. Шадрина, В. В. Эльснера, В. А. Вертер (В. А. Арнольд-Жуковой), Э. Ф. Голлербаха и др.

³ В публикации повести в «Новом мире» отсутствует имеющийся в рукописи (РО ИРЛИ, ф. 809, ед. хр. 37, л. 2) подзаголовок «трагическая пастораль».

⁴ Бочаров С. А. <Предисловие к публикации повести Вс. Петрова «Турдейская Манон Леско»> // Новый мир. 2006. № 11. С. 7.

⁵ См.: Гор Г. Стихотворения. 1942–1944. М., 2012; Зальцман П. Щенки. Проза 1930–50-х годов / Сост. И. Кукуй. М., 2012.

⁶ Для Вс. Петрова была значима связь между Хармсом и Кузминым: он отмечает, что «авангардисты» Вагинов, Хармс, Введенский «подчеркнуто выделяли Кузмина из среды поэтов старшего поколения и, кажется, только с ним одним и считались» (*Петров Вс.* Калиостро. С. 96), и что в дневнике Кузмина было запомнившееся ему (до нас, к сожалению, не дошедшее) упоминание о Хармсе (*Петров Вс.* Воспоминания о Хармсе. С. 191).

⁷ См.: Николев А. <Егунов А.Н.> 1) По ту сторону Тулы. Л., 1931 (переизд.: Русская проза. СПб., 2011. Вып. А); 2) Собрание произведений. Wien: Wiener Slawistischer Almanach. 1993. SBd 35 / Под ред. Г. Морева и В. Сомскова; 3) Елисейские радости / С предисл. Г. Морева. М., 2001; *Маурицио М.* «Беспредметная юность» А. Егунова: Текст и контекст. М., 2008.

сохранившийся в воспоминаниях легендарный образ переводчика Ивана Алексеевича Лихачева,⁸ дневник вдовы Юрия Юркуна Ольги Гильдебрандт-Арбениной,⁹ а также тексты Вс. Петрова – «Турдейская Манон Леско» и «Калиостро» (эти написанные в конце 1960-х воспоминания о Кузмине местами близко к тексту воспроизводят тогда еще неизвестный исследователям дневник поэта 1934 г.), давали, казалось, надежду на то, что если в «тайниках» обнаружатся произведения тех, кто в ранней молодости испытал личное влияние Кузмина и Хармса и кому удалось пережить последующие страшные годы и писать «в стол», то откроется, возможно, другая, сформированная влиянием Кузмина и чинарей, «советская» литература. Надежду эту, в общем, не оправдали ни опубликованная в полном объеме исключительно культурная, но творчески все же бессильная проза Льва Львовича Ракова (1904–1970), которому посвящен цикл Кузмина «Новый Гуль»¹⁰ (показательно, что Вс. Петров в своих воспоминаниях о М. Кузмине назвал тогда почти никому не известную прозу Ракова «замечательной», а самого его – «оригинальнейшим писателем»¹¹), ни стихи переводчика Алексея Матвеевича Шадрина (1911–1983), «по-настоящему верного» Кузмину человека.¹²

«Философские рассказы» Вс. Петрова 1939–1946 гг., явно ориентированные на Хармса, и его написанная в 1946 г. посвященная М. Кузмину военная повесть «Турдейская Манон Леско» принадлежат к этому же литературному ряду: они представляют собой еще одно свидетельство влияния позднеобэриутской поэтики, воспринятой в непосредственном общении прежде всего с Хармсом, на никак не предполагавшую опубликование литературную практику блокад-

⁸ См.: *Никольская Т. Л.* Из воспоминаний об Иване Алексеевиче Лихачеве // *Никольская Т. Л.* Авангард и окрестности. СПб., 2002. С. 249–260; Из писем И. А. Лихачева / Публ., вступ. заметка и примеч. Д. Дубницкого // *Звезда*. 2006. № 6. С. 140–162; *Лихачев И. А.* О Кузмине / Публ., вступ. заметка, примеч. Ж. Шерона // *Звезда*. 2014. № 9. С. 160–164.

⁹ *Гильдебрандт-Арбенина О. Н.* «Девочка, катящая серсо»: Мемуарные записи. Дневники / Сост. А. Л. Дмитренко. М., 2007.

¹⁰ Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь / Авт.-сост. А. Л. Ракова. СПб., 2007 (серия «Хранитель»).

¹¹ *Петров Вс.* Калиостро. С. 102.

¹² *Кузмин М.* Дневник 1934 года / Под ред., со вступ. ст. и примеч. Г. Морева. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 2011. С. 102. См. стихотворения А. М. Шадрин в: ЦГАЛИ СПб., ф. 435 (Шадрин А. М.), ед. хр. 105; РО ИРЛИ, ф. 809 (Вс. Н. Петров), ед. хр. 112.

ных и военных лет; а также демонстрируют феномен сильного и длительного воздействия личности М. Кузмина, которое преодолело смерть и забвение поэта в «печатной» культуре.¹³ «Философские рассказы» сохранились в двух архивных фондах и доступны исследователям,¹⁴ однако не привлекали внимания. Тем не менее сформировавшийся в последние годы литературный статус Вс. Петрова как человека, близкого Кузмину и Хармсу, и тот очерченный нами выше недавно проявившийся ленинградский литературный контекст середины 1930–1940-х гг., к которому может быть подверстана проза Вс. Петрова, создают, как кажется, основание для публикации избранных «Философских рассказов» и их прочтения.

Прежде чем перейти к анализу поэтики «Философских рассказов», опишем литературно-биографический контекст их создания. Сборники «Философских рассказов» (всего 97 текстов разного объема) принадлежат к книгоиздательской практике «самиздата», ориентированного не на распространение, а на домашний «салон», т. е. крайне узкий круг близких знакомых. Это блокноты для записей небольшого формата, заполненные отчетливым почерком автора, с незначительной правкой, снабженные оглавлениями и датировками. Первые три книжки содержат по 12 рассказов и датированы «30 сентября 1939 года», «19 октября 1939–9 февраля 1940», «14 сентября 1940»; четвертая, самая объемная (35 рассказов) и интересная, – «1940–1944»; пятая – 9 рассказов, «1 февраля–30 августа 1945 года»; шестая – 7 рассказов, «октябрь 1945 г.–7 февраля 1946 года»; седьмая – 6 рассказов, «6 апреля–25 октября 1946»; восьмая не заполнена до конца, не имеет оглавления (в ней 5 рассказов) и не датирована (веро-

¹³ Здесь, наряду с «Турдейской Манон Леско» Вс. Петрова, особенно характерна написанная в войну повесть Л. Л. Ракова с «кузминским» заглавием «Les promenades dans les environs de l'amour. Прогулки в окрестностях любви», переполненная эпиграфами и цитатами из Кузмина, стихотворные строчки которого замещают для автора собственную речь: «Я не помню разговора – в смысле тем и острот. Его обаяние и смысл звучат для меня в строках М. А. Кузмина: Ты слышишь ветер! Солнце и февраль! <...> А еще полнее и точнее в следующих его же стихах: Намек на жизнь. Намеки на любовь. <...> По поводу подобных ощущений можно сказать только словами того же автора: Листья, цветы и ветка, – / Все заключено в одной почке» и проч. (Лев Львович Раков. Творческое наследие. Жизненный путь. С. 192–193).

¹⁴ Оригинальные книжки «Философских рассказы» отложились в фонде Вс. Петрова (РО ИРЛИ, ф. 809, ед. хр. 32–35), их машинописные копии – в фонде Е. К. Лившиц в ОР РНБ, ф. 1315.

ятно, записи в ней сделаны в конце 1946 г.). Обложки книг оформлены рисунками и акварелями знакомых Вс. Петрову художников Т. Н. Глебовой, П. И. Басманова, Е. К. Лившиц, В. В. Стерлигова,¹⁵ не имеющими, впрочем, тематической связи с содержанием рассказов и сделанными не ранее 1946 г.

Все восемь книг открываются посвящениями Екатерине Константиновне Лившиц (урожд. Скачковой-Гуриновской, 1902–1987), вдове расстрелянного 21 сент. 1938 г. поэта и переводчика Бенедикта Лившица. Начало романа Вс. Петрова и Е. К. Лившиц – по воспоминаниям разных мемуаристов, необычайно прелестной женщины,¹⁶ приходится, вероятно, на конец 1939 г. (они упоминаются вместе в записной книжке Хармса за конец 1939–апрель 1940 г.¹⁷). Этот же период в жизни Вс. Петрова отмечен дружбой с Хармсом, с которым он познакомился осенью 1938 г. через близкую подругу обеих художниц Ольгу Гильдебрандт-Арбенину, вдову Юрия Юркуна (с «умным Даничкой» та «могла говорить на “Юрины” темы»¹⁸); и тогда же Вс. Петров начал писать свои «Философские рассказы». По воспоминаниям Вс. Петрова, его отношения с Хармсом, несмотря на разницу в возрасте, сразу приняли характер дружбы, Вс. Петров называет себя «последним другом Хармса» в ряду, который в разное время составляли А. Введенский, Н. Заболоцкий, Я. Друскин.¹⁹ Маловероятно, чтобы

¹⁵ См.: *Стерлигов В.* Письмо В. Н. Петрову / *В. Н. Петров.* Письмо В. В. Стерлигову // Шестнадцать пятниц: Вторая волна ленинградского авангарда. Experiment / Эксперимент: Журнал русской культуры. № 16: В 2 ч. LA (USA), 2010. Ч. 1. С. 215–222; неопубликованные воспоминания Вс. Петрова о П. И. Басманове: РО ИРЛИ, ф. 809, ед. хр. 43.

¹⁶ «Эта прелестная женщина, вдова Лившица, символизирует для меня бессмысленность и ужас террора – нежная, легкая, трогательная, за что ей подарили судьбу?» (*Мандельштам Н. Я.* Об Анне Ахматовой / Сост. П. Нерлера. М., 2008. С. 112), см. фотографию Вс. Петрова вместе с Е. К. Лившиц конца 1930-х гг. в: ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 127. Подробнее о Е. К. Лившиц см.: Екатерина Лившиц «Я с мертвыми не развожусь!...». Мемуары / Публ. П. Нерлера и П. Успенского; Вступ. статья П. Нерлера // Новый мир. 2015. № 9. С. 121–145.

¹⁷ *Хармс Д.* Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. СПб., 2002. Кн. 2. С. 139.

¹⁸ Дневник О. Н. Гильдебрандт-Арбениной 1941–1942 гг. // ЦГАЛИ СПб., ф. 436 (Гильдебрандт-Арбенина О. Н. и Юркус Ю. И.), оп. 1, ед. хр. 7, л. 53 об., запись от 9 сент. <1941?> г.

¹⁹ *Петров Вс.* Воспоминания о Хармсе. С. 195. Этот финальный период жизни Хармса мало документирован как в творческих, так и в дневниковых и философских текстах последних обзриутов, которых застал Вс. Петров, – самого Хармса, неэзавшего из Харькова Введенского, Липавского и Друскина, поэтому других свидетельств об отношениях Петрова и Хармса у нас нет, однако общая сдержанность и аккурат-

Вс. Петров читал Хармсу свои рассказы, поскольку, по его воспоминаниям, в доме Хармса «человек, желавший, чтобы его слушали, должен был говорить нечто вполне самостоятельное и неожиданное. Поэтому о литературе говорили нечасто»,²⁰ однако при нескольких беседах наедине, происходивших в пивной неподалеку от квартиры Хармса на Надеждинской, 11 (в которой после войны, волей случая, поселился Вс. Петров), Хармс говорил о литературе – о «значении верно найденной литературной детали» и о «властности» как важнейшем свойстве писателя.²¹ Впрочем, довольно трудно представить себе содержание дружбы Хармса и молодого Вс. Петрова: встречавшим в те годы последнего он запомнился лишь как крайней вежливый, церемонный человек (в воспоминаниях о Хармсе Вс. Петров несколько раз подчеркивает общее им обоим качество «церемонности»); Ольга Гильдебрандт-Арбенина вспоминает данное ему М. Кузминым ироническое прозвище «Дон Педро большая шляпа»,²² Л. К. Чуковская, познакомившаяся с Вс. Петровым у Анны Ахматовой летом 1940 г., запомнила только, что это был «чрезвычайно вежливый человек».²³ Вероятно, он сознательно придерживался роли «младшего»: Н. А. Тырсе рекомендовался как «ученик» Н. Н. Пунина, С. К. Островской – как «почитатель Кузмина».²⁴ Его стихотворениям, написанным в 1933 г. в ответ на обращенные к нему поэтические послания Лидии Аверьяновой (1905–1942), свойственна интонация *poetae mi-*

ность воспоминаний Вс. Петрова, верифицируемых другими источниками, не дает повода подозревать его в сознательном преувеличении. Как известно, в жизни Хармса это были предельно мрачные и тяжелые годы, отмеченные распадом творческого союза друзей, ужасом перед близкой войной, нищетой и даже голодом, когда Хармс отмечал в дневнике абсолютность и безнадежность своего «падения» и «гибели».

²⁰ Там же. С. 198.

²¹ Там же. С. 199. О том же Хармс говорил с Ахматовой, с которой познакомился в мае 1940 г.: Ахматова рассказала Л. К. Чуковской, что, по убеждению Хармса, «гений должен обладать тремя свойствами: ясновидением, властностью и толковостью», у Хлебникова он нашел только ясновидение, у самой Ахматовой – первые два качества, но «толковости мало» (*Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. М., 2013. Т. 1. С. 113*).

²² *Гильдебрандт-Арбенина О. Н. «Девочка, катящая серсо»*. С. 167.

²³ *Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 164*; о том же пишет С. К. Островская, познакомившись с Вс. Петровым: «Distingué до потери сознания» (*Островская С. К. Дневник / Вступ. ст. Т. С. Поздняковой; послесл. П. Ю. Барсковой; подгот. текста и коммент. П. Ю. Барсковой и Т. С. Поздняковой. М., 2013. С. 555*; запись от 17 июля 1945 г.).

²⁴ *Петров Вс. Н. Встречи с Н. А. Тырсой. С. 132; Островская С. К. Дневник. С. 555.*

понос с ощущением недостаточности своего поэтического дыхания, цитатностью, мотивами немоты и забвения:

«А мне не хватит голоса, и мне
Не вспомнить слов и не найти созвучий.
Беспамятство!
<...>
Слова, как дым пастушьего костра
Расходятся, лишь немоты взыскую.
Беспамятная, грозная пора!
И нам не счесть ни звезд, ни поцелуев»

«Не римские серебряные реки,
Не каменные кони Ассирии,
Не корабли, не всадники, не песни.

И мне не снится пленная Изида,
Египетское волхвованье речи,
Священный шум песчаного прилива.

Простая музыка меня тревожит,
Земное время сковывает тело
Глухих обид неодолимым грузом.

И снова пробую свое дыханье,
Свой медленный и приглушенный голос
– “Не корабли, не всадники, не песни...”
<...>».²⁵

Короткая дружба с Хармсом и любовь к Е. К. Лившиц оказали решающее воздействие едва ли не на всю жизнь Вс. Петрова, во всяком случае на период 1939–1949 гг., когда были написаны «Философские рассказы». Восемь из этих десяти лет его близость с Е. К. Лившиц была заочной: в конце 1939 г. они сошлись, а 18 апр. 1941 г. она была осуждена по статье 58-10, часть I к лишению свободы на 5 лет с поражением в правах на 2 года, которые отбыла полностью, вернувшись в Ленинград только в 1949 г. На протяжении всех этих лет

²⁵ Цит. по: *Аверьянова Лидия*. Vox Humana: Собр. стихотворений / Сост., подгот. текста, послесл. и примеч. М. М. Павловой. М., 2011. С. 351–352; см. там же посвященные Вс. Петрову стихотворения Л. Аверьяновой «Адмиралтейство» и «Сонет-акrostих» (С. 100, 145).

Вс. Петров писал Екатерине Константиновне любовные письма, сохранившиеся в ее архиве,²⁶ постоянно помогал деньгами и заботами сначала о ее сыне Кике (Кирилле, 1925–1942), погибшем на войне, потом об устройстве ее бытовой жизни. Сам Вс. Петров был мобилизован в армию в ноябре 1941 г., до конца 1942 г. находился в Ленинграде, однако пережил блокаду сравнительно благополучно, служа, по его словам, по интендантско-канцелярской части и живя в помещении военной канцелярии, которой заведовал (родные его находились в эвакуации). В начале 1943 г. он был отправлен на фронт, однако в боях, вероятно, совсем или почти не участвовал (во всяком случае, в письмах к Е. К. Лившиц он представляет свою военную службу как нетрудную, возможно, не желая ее волновать), находясь в ожидании приказа в глухой деревне под Брянском, где имел возможность читать книги из сельской библиотеки (обнаружил там антологию переводов Б. Лившица из французской поэзии «От романтиков до сюрреалистов»). В эти военные месяцы он жил «без перемен и почти без дела, в каком-то затянувшемся ожидании отъезда»²⁷ (это своеобразное состояние вынужденного бездействия на войне описано в повести «Турдейская Манон Леско»); после ненадолго вернулся в Ленинград, где получил назначение на новое место военной службы, однако снова оказался, со вверенной ему командой, в глухой деревне, где и узнал о победе. В блокадные и военные годы он, судя по письмам к Е. К. Лившиц, имел досуг и возможность читать, сочинять и строить творческие планы, по большей части нереализовавшиеся: «Много читаю, а зимой довольно много писал: готова целая серия новых рассказов, несколько философских диалогов, начата большая вещь вроде повести, а задумано еще больше: книга о творчестве Филонова (он умер нынешней зимой), очерки о современной живописи (вернее, о нескольких современных живописцах, таких, как Чекрыгин, Бруни, Басманов), трактат о сущности искусства и история романтизма».²⁸ Но главным образом его письма этих лет наполнены мечтами о совместном будущем с Е. К. Лившиц, уверениями в том, что «настоящая жизнь у нас в будущем, когда мы будем вместе <...>. Теперь еще не

²⁶ ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 81, 82; часть их недавно опубликована: *Петров Вс. Н.* «Мир для меня полон Вами». Письма к Е. К. Лившиц / Публ., вступ. заметка и коммент. П. Л. Вахтиной // Знамя. 2014. № 12. С. 150–167.

²⁷ Письмо Вс. Н. Петрова к Е. К. Лившиц от 25 нояб. 1943 г. // *Петров Вс. Н.* «Мир для меня полон Вами». С. 157.

²⁸ Там же. С. 155 (письмо от 17 июля 1942 г.).

жизнь, а просто существование, приготовление, ожидание»:²⁹ «За те два счастливых года мы стали так близки, как это только возможно, мы как-то продолжаемся друг в друге. Такая близость бывает в жизни только один раз и остается на всю жизнь»,³⁰ «Жизнь у меня очень одинокая, тихая, может быть печальная, но я не замечаю печали, потому что весь полон Вами, больше даже, чем во время нашей близости. <...> Я люблю Вас еще нежнее и еще преданнее, чем раньше, Вы стали для меня всем, Вы самый верховный абсолюте и самая большая истина моей жизни. <...> Вся моя жизнь – это Вы; я ничего не могу вспомнить, что не было Вами. Вы – вся моя память»,³¹ «Вы моя всегда и навсегда любимая, Вы моя жена, и я бываю счастлив, когда думаю об этом».³²

В конце 1945 г. Вс. Петров был демобилизован из армии и вернулся к своей службе в Русском музее, а летом 1946 г., впервые после расставания в 1941 г., ненадолго встретился с Е. К. Лившиц, приехав в Осташков, где ей было разрешено жить после освобождения: «...я думаю о Вас и люблю Вас, и Вы тоже думаете обо мне (а слова «люблю» Вы мне ни разу, за все восемь лет нашей близости, не сказали и не написали)».³³ Вероятно, тогда же он показал ей свою прозу – «Турдейскую Манон Леско» (в письме от 16 сент. 1946 г. он благодарит за «хорошие слова о моей пасторали»³⁴) и «Философские рассказы» (несколько ранее он писал, что продолжает сочинять рассказы все в той же посвященной ей серии³⁵), – последние ей, как можно предположить, не очень понравились («Что же, может быть я напишу еще

²⁹ Там же. С. 154 (письмо от 7 июня 1942 г.). В этом же письме Петров сообщает о смерти Хармса: «Даня умер 5 февраля; не могу выразить, как тяжела мне его смерть» (Там же; дата смерти Хармса – 2 февр.).

³⁰ Там же. С. 155 (письмо от 5 июля 1942 г.).

³¹ Там же. С. 153 (письмо от 24 мая 1942 г.).

³² ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 81, л. 31 об. (письмо от 28 окт. 1945 г.).

³³ Там же, л. 52 об. (недатир. письмо (после 24 дек. 1946 г. до 5 янв. 1947 г.); опубл. с купорами в: *Петров Вс. Н.* «Мир для меня полон Вами». С. 157–158). О. Н. Гильдебрандт-Арбенина, находившаяся в эвакуации, записала в дневник об отношении Вс. Петрова к Е. К. Лившиц: «преданность Всеволода безгранична» (*Гильдебрандт-Арбенина О. Н.* «Девочка, катящая серсо». С. 224; запись от 6 июня 1947 г.), о том же писал Е. К. Лившиц их общий друг А. М. Шадрин: «Для Вас он [Вс. Петров] сделал во много раз больше, чем я – всё это время когда мы с ним встретились перед войной и в начале войны он жил одной только мыслью о Вас» (письмо А. М. Шадрина к Е. К. Лившиц от 2 нояб. 1943 г. // ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 114, л. 4).

³⁴ ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 81, л. 44.

³⁵ Там же, л. 33 (недатир. письмо, после 28 окт. 1945 г. до 12 февр. 1946 г.).

когда-нибудь хорошую вещь, которая будет посвящена Вам»³⁶), и вскоре Вс. Петров прекратил их писать.

Возвращение от военной службы к мирной работе ленинградского искусствоведа вызвало во Вс. Петрове тяжелую депрессию, прекратившую, вероятно навсегда, его собственно литературное творчество (вплоть до обращения в конце 60-х к мемуарной прозе): «Сам не знаю, чем я болен. Скорее всего, это реакция на страшное напряжение военных лет. Пока я был в армии, я чувствовал себя неизмеримо здоровее и лучше. Вообще, демобилизация принесла мне не то чтобы разочарование, а какое-то снижение»,³⁷ «У меня была беспричинная тоска, которая мне мешала во всем. Я ничего не писал (кроме заказных статей, выходявших очень плохо и доставлявших мне множество мучений), даже не читал почти ничего, ни с кем не мог видаться, худел, желтел и только тем и был занят, что сидел у себя за столом, выпучив глаза и ни о чем не думая»,³⁸ «Конечно, я всегда Вас не стоил, – писал он Е. К. Лившиц, – даже тогда, когда был лучше чем теперь – я хочу сказать, когда я не был еще мерзким неврастеником, способным тупо и мрачно неделями ни с кем не видаться, неизвестно за что ненавидеть весь мир и так далее. <...> Вообще, я стал похож на какого-то страшного персонажа из моих собственных рассказов...».³⁹ Самый поздний его сохранившийся литературный текст – рассказ «Зимняя ночь», датированный 9–12 янв. 1948 г., который он 7 дек. 1949 г. посвятил Е. К. Лившиц, «самому дорогому и близкому мне человеку с безграничной преданностью и любовью»⁴⁰ – никак не связан ни с обэриутской, ни с кузминской литературной традицией и отмечен преимущественно крайней степенью унылости и мрачности, ощущением, что «жизнь моя ничтожна, и никогда в ней не может случиться ничего, что бы подняло ее над уровнем ничтожества и неудач».⁴¹ В 1948 г.

³⁶ Там же, л. 44 (письмо от 16 сент. 1946 г.).

³⁷ Там же, л. 36 об. (письмо от 19 апр. 1946 г.).

³⁸ Там же, ед. хр. 82, л. 2 (письмо от 7 янв. 1947 г.).

³⁹ Там же, л. 4–4 об. (письмо от 19 марта 1947 г.; опубли. с купюрами в: *Петров Вс. Н.* «Мир для меня полон Вами». С. 159–160).

⁴⁰ ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 148, л. 1 об.

⁴¹ Там же, л. 28. 16 янв. 1949 г., делая запись в альбом О. Гильдебрандт-Арбеининой, начатый еще М. Кузминым (11 янв. 1930 г., стихотворение Кузмина «Сколько лет тебе, скажи, Психея?»), Вс. Петров смог лишь списать в него свой рассказ «Часы», который был сочинен им еще в первой половине 1945 г. (рассказ входит в пятую книжку «Философских рассказов», датированную 1 февр.–30 авг. 1945 г., где посвящен Г. Гору, в соавторстве с которым Вс. Петров после войны написал несколько популярных книг о художниках).

Вс. Петров писал Екатерине Константиновне, вероятно, в ответ на вопрос о своих рассказах, что «покуда ничего нового не сочинил»,⁴² и умолял ее приехать (из Луги в Ленинград), «чтобы я мог снова уверить Вас и сам убедиться – в том, о чем твержу Вам уже почти десять лет: неразрывности и вечности нашего союза».⁴³ В 1949 г. она вернулась в Ленинград, тогда же Вс. Петров женился на Марине Николаевне Ржевусской (родственнице и приятельнице Марины Малич, жены Хармса). Так закончилось то десятилетие, которое, как казалось ему, когда он его проживал, состояло из «безнадежных» и «унылых» 1938 и 1939 гг.,⁴⁴ из блокады, войны и одиночества, где была «еще не жизнь, а просто существование, приготовление, ожидание», и которое оказалось его акме.

Что же представляют собой «Философские рассказы» Вс. Петрова? В самых общих чертах их можно охарактеризовать как использование, главным образом на уровне сюжета, некоторых позднеобэриутских мотивов, которые на несколько лет стали адекватными для личного высказывания этого человека, заставшего обэриутское «сборище друзей» в период распада и лишь поверхностно познакомившегося с кругом его идей. В «Философских рассказах» легко обнаруживаются темы и мотивы из поздних произведений Д. Хармса и А. Введенского, метаобэриутских текстов Л. Липавского и Я. Друскина, которые Вс. Петров мог воспринять понаслышке. Однако философская составляющая позднеобэриутской поэтики осталась Вс. Петрову недоступной (об этом косвенно свидетельствуют и его школярские планы самообразования, изложенные в письме к Е. К. Лившиц: «Занимаюсь философией и историей, главным образом античной, читаю Платона и вскоре собираюсь перейти к гностикам. Потом собираюсь заняться востоком, а потом – средними веками»⁴⁵). Используя в своих рассказах такие ключевые для Хармса понятия, как ‘чудо’, ‘случай’, ‘окно’, ‘ничто’, ‘ангелы’ и проч., Вс. Петров всякий раз фиксирует невозможность сказать о них что-либо: в рассказе «*Старуха и человек*»⁴⁶ старуха допытывается у идущего рядом с ней по мосткам

⁴² Петров Вс. Н. «Мир для меня полон Вами». С. 162 (письмо от 15 февр. 1948 г.).

⁴³ ОР РНБ, ф. 1315, ед. хр. 82, л. 35; письмо от 21 авг. 1948 г.

⁴⁴ Петров Вс. Воспоминания о Хармсе. С. 198.

⁴⁵ Петров Вс. Н. «Мир для меня полон Вами». С. 157 (письмо от 18 окт. 1942 г.).

⁴⁶ Петров Вс. Н. Философские рассказы. Кн. 4 // РО ИРЛИ, ф. 809, ед. хр. 33, л. 307–309. Далее ссылки на «Философские рассказы» даются в основном тексте с указанием номера книги и, через двоеточие, единицы хранения и листов. Курси-

человека, что такое чудо, однако тот всякий раз, собираясь ответить, поскользывается и вынужден, чтобы не упасть, идти на четвереньках; старуха в раздражении спихивает человека в реку: «На этом и закончился разговор о чуде».⁴⁷ В рассказе с другим знаково хармсовским заглавием, «Случай из жизни», некто Пчеловодов рассказывает о том, как раз его позвали на именины, а он сказал, что не пойдет, и тогда хозяйка спросила его, почему, однако он теперь не помнит, почему не пошел на те именины, так как это было очень давно. Дальше, по словам Пчеловодова, не было ничего. Это «ничего» и оказывается синонимом «случая»: «– Я не понимаю, зачем ты мне рассказываешь об этом, – сказал Серебров. – Просто я рассказал тебе случай из моей жизни, – сказал Пчеловодов» (Кн. 4. 33: 322–324). В рассказе «*Семь железных книг*» (Там же: 343–346) происходит необъяснимое исчезновение, связанное с магией чисел (сразу поданной с ироническим снижением):

«Семь железных книг, открытых на первой странице, лежали на полу, составляя фигуру семи. С другого конца той же комнаты к ним полз на коленях Мотыкин. Не доползая семи пядей, он снял все, что было на нем надето, и, оставшись в одних носках, положил по копейке в каждую книгу. Тогда книги стали с грохотом захлопываться и одна за другой исчезать, несмотря на то что были прикованы к полу железной цепью. Потом исчезла железная цепь, а за ней исчез пол. И стены, и двери, и комната, и самое здание тоже исчезли. У Мотыкина исчезли носки».

Однако это чудесное происшествие не имеет никакого объяснения, даже абсурдного:

«Все это исчезло, не оставив никакого следа, и так как никто этого не видел, то никто об этом не знал, а если кто и видел, то это исчезло из памяти. Так что нельзя и понять, зачем было здесь рассказывать обо всем этом. Я, по крайней мере, не могу подобрать никаких объяснений,

вом выделяются заглавия рассказов, полностью приведенных далее в настоящей публикации (в ней мы помещаем как ключевые, на наш взгляд, для понимания поэтики цикла «философские рассказы», так и те из них, весьма немногочисленные и составляющие скорее исключение, которые эксплицитно связаны посвящениями или сюжетами с конкретными литературными и историческими лицами и событиями).

⁴⁷ Также рассказ «*Валерьян*» (Кн. 4. 33: 301–306), где повествователь приходит к весьма традиционной интерпретации «чуда»: «А может быть и не бывает никаких чудес, и то, что мы ожидаем чуда, свидетельствует лишь о слабости нашей души и неспособности понять нечто, более значительное, чем чудо».

кроме, конечно, одного, самого простого: все, о чем здесь рассказано, имело безусловное и совершенно неоспоримое существование».

Итак, мы будем воздерживаться от указания на вполне очевидные, но поверхностные и ничего в самих «Философских рассказах» не объясняющие параллели с обэриутской поэтикой.

Доминанта довольно бедного и четко структурированного художественного мира «Философских рассказов», построенных в основном в форме диалогов, – исчезновение мира, персонажей и самого повествователя. Так, постепенное опустошение реальности составляет основу диалога «*Китай*» (Кн. 4. 33: 350–360): развитие бытовой максимы «всё воры кругом», иллюстрируемой рассказом о коне, у которого все крадут, так что от него не остается даже пустого места («крали у этого коня навоз, и куда-то возили на этом же самом коне; <...> украли седло, а там обкорнали шерсть и копыта и тоже украли, а потом и вся конюшня кому-то понадобилась, и кончили тем, что некий такой Конечников сожрал самого этого коня. Так и вышло, что был конь, а стало совсем не то <...>. Вместо коня теперь пустое место, да и того нет, потому что тоже украли»), сопровождается немотивированным рефреном: «Китай близко <...> Китай тут <...> Китай у нас рядом». В финале повествователь Сучков объясняет, что такое этот «Китай тут», который он раз «видел в окно», и какое отношение он имеет к теме тотальной кражи всего, вплоть до пустого места:

«...все то же самое, что у нас, только какая-то желтизна, и если как следует посмотришь, то видно, что ничего нет, – ответил Сучков.

– Как это ничего нет? – спросила Пихачева.

– Очень просто, – сказал Сучков, – я смотрел на двор и сначала вижу, что двор, и валяются какие-то матрацы, а потом вижу, что желтизна и в ней решительно ничего нет, ни двора, ни матрацев, а если как следует подумать, так и меня самого тоже уж нет.

– Выходит, как будто украли, – сказала Пихачева.

– Просто желтизна, совершенно пустая желтизна, ну а все остальное как у нас, – ответил Сучков.

– Это и правда Китай, в нем все исчезает, – сказала Пихачева.

– Кругом Китай, – ответил Сучков и замолчал, посмотрев вокруг себя.

И в самом деле, сквозь желтизну, в которой не было ничего, по стеклянным рельсам бесшумно шел трамвай, в котором сидели Сучков и Пихачева».

Реальность предстает смазанной, недифференцированной и потому не поддающейся именованию: герой видит на улице кошку, однако «подойдя поближе он разглядел, что это не кошка, а шапка или небольшой мешок. А когда он подошел вплотную, то на этом месте вообще ничего не оказалось. <...> Он подошел к ней [кошке] и вскоре заметил, что это не кошка, а мешок или, может быть, шапка. А подойдя вплотную, убедился, что там решительно ничего нет» и т. д. («Несчастный». Кн. 3. 33: 153–155).⁴⁸ Отсутствие различий в вещах соотносится с невозможностью о них говорить (коротенький рассказ «История четырех чиновников» (Там же: 140) состоит не из изложения истории, а сводится к сообщению, что она рассказана), с произвольностью их названия: в рассказе «Единство мира» (Кн. 3. 33: 170–176) «некий человек, назовем его Сергей Сергеевич», который боится мышей, требует, чтобы его жена вместо слова «мышь» говорила «источник», однако таким образом ей приходится переименовать все вещи и «придумывать названия всему. Тропинки она назвала полотенцами. Полотенца она назвала половинами. Половины она назвала копилками. И когда она кончила называть все по-своему, ей не хватило одного слова». Реакцией на эту произвольную адамическую ревизию становится тотальная «тошнота»: Сергея Сергеевича «стало тошнить решительно от всех слов», он «запретил своей жене произносить какие бы то ни было слова, потому что все они стали значить одно и то же. Поэтому с ним ни о чем нельзя было разговаривать. И, кроме того, при виде Сергея Сергеевича остальных людей стало тошнить, так что никто и не хотел с ним разговаривать. Каков же был конец всего? Сергей Сергеевич от тошноты ничего не мог есть и умер от голода».⁴⁹

⁴⁸ В более поздних рассказах пустота мира передается посредством лексически и грамматически предельно бедных языковых оборотов, в духе Леонида Добычина: «Было поздно. Наступали сумерки» («Человек в зеленых очках»). Кн. 7. 35: 502), «Стояла весна. Снег таял» («Поэзия и правда». Там же: 515), «Было поздно. Было тепло <...>. Прохожих не появлялось. Автобус не приходил» («Красавица». Там же: 521), «В комнате было темно. В ней стояла кровать Пантелеева, стол, стул и комод» («Полет Пантелеева»). Кн. 8. 35: 587), повторами понятия и слова «пустота»: «Пустые поля. Пустые реки. Пустые овраги. <...> Лестницы, ведущие в никуда» («Перечисление». Кн. 4. 33: 424). Естественно, что историческая локализация основного корпуса рассказов никак не определена – за исключением двух, оба в четвертой книге, датированной 1940–1944 гг., «Воздушная тревога» (33: 313–321) и «Людоеды» (Там же: 347–349), где экстремальные события жизни блокадного города представлены в шокирующе отстраненном виде.

⁴⁹ Безымянных участников диалога, озаглавленного «Диалог» (Кн. 4. 33: 272–277), которые обозначены как «Первый» и «Второй», от обещанных, но так и не про-

Персонажи Вс. Петрова постоянно и безрезультатно ставят перед собой вопрос о том, почему «вокруг <...> все непрочно и не имеет цвета» («Велосипед». Кн. 1. 32: 22; при этом мимо размышляющего таким образом Калитина проезжает велосипед, «на котором никто не сидел, и песок совсем не скрипел под его шинами»), «ничему нельзя верить и весь мир чепуха» («Темнота». Кн. 4. 33: 432). Реакцией на тотальное недоумение перед «бедностью, несовершенством и непрочностью нашего существования» («Иддилия» (так. – М. М.). Там же: 407) становятся уже названная «тошнота», «головокружение, как будто бы от угара» и потеря сознания («Клетин и Клетин». Там же: 300), герои бьются головой об стену (Каюкин «раскачивался во все стороны и клевал носом стену, а затылком колотился в другую стену» («Конец Каюкина». Кн. 3. 33: 144–145), Щипунов «зажмурил глаза и стал стучать головой об стены» («Зайчик». Там же: 136)), «бледнеют и худеют и теряют волосъ» («Грабеж». Кн. 2. 32: 93), решают, что сошли с ума: «Я ничего не в силах понять. Я сошла с ума» («Полет Пантелеева». Кн. 8. 35: 595).⁵⁰

Вместе с исчезновением мира исчезают и персонажи. В рассказе «Разговор с призраком» (Кн. 3. 33: 162–167) «призрак Степана» и «Гусачев» ведут спор о том, кого из них нет, в финале Гусачев, которому становится «очень печально», признает: «– Может быть и в самом деле меня нет <...> – Я тоже ничего про себя не знаю, – хотел сказать призрак Степана, но внезапно изменился и, потеряв очертания, исчез». Целиком теме исчезновения персонажа посвящен рассказ «Ничто» (Кн. 1. 32: 36–45) – сравнительно длинный и разделенный на семь главок, что мотивировано задачей создания формально протяженного и члененного текста, который при этом повествует о «ничто». Герой рассказа Ф. Окрошков «имел особенное свойство: иногда он исчезал, иными словами, становился невидным и переставал где бы то ни было существовать». Первоначальные исчезновения Окрош-

изнесенных «неприличностей» также «тошнит», «рвет», у них «болит голова», «все тело болит. Я от них не могу есть, спать и отправлять свои физические потребности. <...> А я от них просто-напросто умираю. <...> не только я сам умираю, но и жена умирает, и дети мрут, и все знакомые умирают, и тех знакомых знакомые, все до единого человека от этого умирают».

⁵⁰ Иногда вместо ответа происходит резкий перебой повествования в бытовую плоскость: два героя, которым грозит дематериализация – их «ест ржа», «шея вся в плесени» и «жучок тикает в ухе, жрет кость», узнав, что «от всего помогает формалин», забывают о своих горестях и бодро отправляются гонять голубей («Болезнь и здоровье». Кн. 4. 33: 261–263).

кова в социально неприятных, в основном специфически советских, ситуациях (в малознакомом доме, при разговоре с гадким старичком Антоном Осиповичем, в очереди, на общем собрании, в трамвае под носом у кондукторши, в кабинете злого доктора), мотивированные буквализацией расхожих языковых метафор («изглаживаться из памяти», «куда вы исчезли?» и проч.) и, как можно предположить, ничтожностью социального статуса и самоощущения героя в советской действительности (социально-сатирический вариант такого буквализованного исчезновения мелкого советского служащего представлен в повести И. Ильфа и Е. Петрова «Светлая личность» (1928)), приобретают во сне героя мифологическое измерение: его арестовывает «барано-бык» (при пробуждении Окрошков понимает, что «барано-бык» – «это доктор и Антон Осипович») и приводит на поле, где «привязывали быков к большим шарам и поднимали на воздух. Некоторые быки взлетали очень высоко и разрывались». В финале Антон Осипович предъявляет Окрошкову квазифилософскую претензию: «Ты не цел», которая тут же получает гротескную бытовую перекодировку в духе Чеширского Кота Льюиса Кэрролла (писателя, ценимого Хармсом): «Лучше бы все время чего-нибудь не было, например ноги, чем иногда весь исчезаешь». Антон Осипович привязывает Окрошкова за ногу, в результате тот, не имея возможности исчезнуть целиком, исчезает по частям: «сначала исчезла непривязанная нога, потом руки, потом туловище, потом шея, потом нос и уши, потом понемногу вся голова стала гладкой как шар и разорвалась (ср. сон Окрошкова про разрывавшихся быков. – М. М.). А привязанная нога осталась. Через год она высохла, и Антон Осипович вымел ее вон».

Относительность и шаткость идентичности персонажей заявлена еще до того, как с ними что-либо происходит – на уровне именованности: несмотря на формальную определенность имен (чаще – фамилий или имен-отчеств), уже сама их избыточность в рассказах и отсутствие у их носителей других, кроме имени, определенных черт указывают на произвольность имени и утрату им индивидуализирующей функции. Иногда фамилии метонимически порождаются из сюжетной функции персонажа, служащей способом завершить сюжет, как в рассказе с говорящим заглавием «Конец Каюкина» (Кн. 3. 33: 141–148) или в уже упоминавшемся диалоге «*Kumai*», где все заканчивается появлением «некого такого Конечникова» (Кн. 4. 33: 353). Недифференцированность персонажей выражается в том, что в рассказах часто действуют герои с фамилиями-близнецами: Сукачев – Сухарев («*Два*

друга». Кн. 3. 33: 126–131), Шанин – Шигин («Яма». Кн. 4. 33: 255–256), Софронов – Андронов («Дождь». Кн. 4. 33: 364–368) и проч. Даже если персонажей зовут разными именами, то может оказаться невозможным определить, это «один человек или два»: в рассказе «*Саблуков и Капустин*» (Там же: 278–288) на кладбище обнаруживаются «два креста, на которых было написано одно и то же: “Саблуков и Капустин”. – Это глупо, – сказал Скреблов, – нужно на одном написать “Саблуков”, а на другом “Капустин”. Тогда получится совсем другое дело». Скреблов отправляется к своим друзьям Саблукову и Капустину, чтобы посмешить их. Придя в квартиру, где жили Саблуков и Капустин, он узнает от квартирной хозяйки, что те умерли, и имеет с нею спор о том, кто из изображенной на фотокарточке пары Саблуков, а кто Капустин, а также «это один человек или не один? <...> Один или два?». Проходящий мимо и тут же исчезающий мужик замечает, что это «не Саблуков и не Капустин» и что их было «один-два».

Мерцающая идентичность персонажей требует ревизии традиционного употребления местоименных форм: в рассказе «*Два друга*» (Кн. 3. 33: 126–131) готовые смешаться уже на уровне имен друзья Сукачев и Сухарев «шли по двору впереди друг друга и думали: если я не туда пойду, он мне скажет “куда ты идешь?”», далее они оказываются в комнате без окон, где обнаруживается произвольность их индивидуальных (психологических) различий: «– Зачем ты меня сюда заманил? – сказали друг другу Сухарев и Сукачев; но Сукачев сказал трусливо, а Сухарев злобно. – Я тебя не заманивал, ты сам, – ответили они. – Что я тебе сделал? – спросили они, но Сухарев спросил трусливо, а Сукачев подло. <...> – Преступник, – сказали они друг другу» (в финале некая вошедшая в комнату «пачка» выгоняет перепутавшихся в драке друзей на улицу, где они снова возвращаются в пределы бытовой логики и порядка: «Сукачев подпоясался, и Сухарев завязал шнурки на своих ботинках. После этого они рядом вышли на улицу и пошли прямо, как им было нужно»). Обратная сторона этого же явления – разделение одного персонажа надвое – представлена в рассказе «*Клетин и Клетин*» (Кн. 4. 33: 293–300): герой по имени Клетин, так же как Сукачев и Сухарев, оказывается, «сам не зная почему», в пустой комнате, где кто-то свистит:

«– Кто же свищет, раз тут никого нет? – спросил себя Клетин. – Значит я, – сказал кто-то Клетину, но это был он сам. – Кто я? – спросил Клетин. – Клетин, – ответил Клетин. – Значит, я стою в пустой комнате около себя и говорю? – спросил Клетин. – Да, – ответил Кле-

тин. – Как же мне со мной говорить? – спросил Клетин. – Нужно говорить на я, – сказал Клетин».

Единственным «несомненным существованием» предстает исчезновение («*Семь железных книг*». Кн. 4. 33: 343), надежду на возможность уловить различия дает смерть (см. рассказ «*Сходство и различие в судьбе*»: Кн. 4. 33: 264–270, где повествователь приводит истории смерти разных людей, задаваясь вопросом, «есть ли между этими людьми сходство, и есть ли между ними различие?», и приходит к выводу, что если различия «нет в жизни и смерти, то, значит, оно наступает после смерти. Только что же мы об этом знаем, что мы об этом можем сказать?»). В рассказе «*Павленька*» (Кн. 2. 32: 75–82) способность понимать «различие» начинается именно после смерти: для слепого певца Павленьки люди «невидимы», т. е. он не понимает их мотивов и способен улавливать лишь «некоторую разницу между вещами», однако когда «невидимые люди» по непонятной для Павленьки причине его убивают, он «раскрывает глаза» и «видит», т. е. вполне понимает окружающий его, хоть и метафизически абстрактный мир: висящие вокруг «какие-то треугольники» не вызывают у него недоумения: «Это все гитары, – подумал Павленька. – Это всё мертвые, – понял он. – Они сухие, – решил Павленька <...> – Это тела, – подумал Павленька, – души невидимы...».⁵¹

То, что «наступает после смерти», оказывается, в отличие от посторонней жизни, своеобразно дифференцированным: в рассказе «*Три конца*» (Кн. 2. 32: 95–104) герой Смычков, разделившийся на «умирающего Смычкова» и «умершего Смычкова» (поэтому жена Смычкова заказывает два гроба и называет мужа «он-ты»), находит в своем гробу только спички: «Он-ты не различает вещи, – возражает жена Смычкова, – в гробу еще баночки»; когда «умирающий» Смычков «умер», он приобрел способность различать «все спички и пузырьки», однако уже не мог их «взять».⁵² Сходное раздвоение персо-

⁵¹ Рассказ «*Павленька*» имеет посвящение «А. А. Ахматовой» и, вероятно, инспирирован нереализованным замыслом Хармса, зафиксированным в его записной книжке 1939–1940 гг.: «*Павленка* (слепой). Восемь глав. *Разговор* (с невидимым человеком)» (Хармс Д. Полн. собр. соч. Записные книжки. Дневник. Кн. 2. С. 150) – возможно, этот замысел обсуждался Хармсом в присутствии Вс. Петрова и Ахматовой (с которой Хармс познакомился как раз в 1940 г.).

⁵² Смерть Смычкова, впрочем, далеко не является окончательной: на кладбище «умерший Смычков» помог жене снять гробы с грузовика, после чего «завел машину, вскочил в кабинку и помчался прямо на церковь. Он проехал ее стену и стал невидим» (Кн. 2. 32: 102), а «умирающий Смычков» остался «пока жить на кладби-

нажа после смерти происходит в уже упоминавшемся рассказе «Саблуков и Капустин» (Кн. 4. 33: 278–288): переплетаясь с линией умерших «Саблукова и Капустина», развивается линия их друга Скреблова, который идет к ним в гости с Охты на Васильевский остров по замерзшей Неве, проваливается под лед и тонет, после чего начинается следующая часть рассказа – «непонятная», в которой, однако, «и заключается самая суть»: Скреблов утонул, но при этом «ничего не замечал и шел по льду. Он был поглощен своими мыслями». Придя в дом, где жили Саблуков и Капустин, он пытается спросить квартирную хозяйку о чем-то важном, но не может вспомнить: «Я чего-то не понимаю, только не помню чего, – сказал Скреблов. <...> – Я что-то путаю!». «Тут кончается вторая половина этого рассказа, а впереди остается еще совершенно лишняя половина, которая ничего не объяснит. Но она короткая»: в этой «третьей половине» «когда утонувшего Скреблова достали со дна и сравнили, то это вместе с тем оказался и ходивший Скреблов. Но сколько было их, один или два, и почему один ходил, когда один утонул, этого никто не спрашивал, и спросить было некому, потому что если Скреблов и был один, или был не один, то теперь не осталось ни одного». Таким образом, раздвоение Скреблова на «утонувшего» и «ходившего», обещавшее стать комментарием к вопросу о том, что такое умершие Саблуков и Капустин, «один или два», оказывается мнимым объяснением: Саблуков и Капустин – это «один-два», а Скреблов если «и был один, или был не один, то теперь не осталось ни одного».

Доминантные элементы устройства мира в рассказах Петрова в разных комбинациях соединяются в пределах одного текста: так, рассказ «Дровяной переулоч» (Кн. 4. 33: 370–381) начинается с того, что некая поименованная только по фамилии и лишенная других характеристик Козлова, не объясняя зачем, зовет Дымана, Калитина и Глушнева идти в Дровяной переулоч; по дороге те спрашивают дорогу у «рослого мужика», о котором потом говорится, что «это не мужик, а баба», «не мужик и не баба, а просто какая-то куча». Неопределенность смысла события и слабая индивидуализированность названных, однако, по фамилиям персонажей поддерживается соответствующими метаморфозами пространства и времени: незначительная протяженность Дровяного переулочка («вот от этого дома до того дома, весь-то пере-

ще у сторожа. Там он окреп и впоследствии переехал в другое государство» (Там же: 103–104).

улок три дома») оказывается относительной («сколько ни шел он мимо этих домов, они все время оставались по сторонам от него, хотя их и было только три»), чему дается квазилогическое объяснение: «Ведь это только кажется на снегу, что близко, а на деле оно далеко». Рослый мужик/баба/куча, который находится в начале Дровяного переулка, оказывается «не в трех шагах, а <...> в очень большом отдалении», Глушнев идет, чтобы выяснить, кто же это, и исчезает: он «становится все меньше и меньше, пока наконец он совсем не слился со снегом, так и не дойдя до далекой кучи, которая была бабой или мужиком». Возрастающая относительность и непонятность окружающего мира и постепенное исчезновение всех действующих лиц заканчивается, как почти всегда у Вс. Петрова, не «звездой бессмыслицы», а вполне традиционным (т. е. в сущности неадекватным поэтике абсурда), на этот раз метафизическим финалом: «Через некоторое время, а может быть и в это же самое время по Дровяному переулку пролетели три ангела, держа в руках какие-то сморщенные грязные комочки, которые были душами Дымана, Глушнева и Калитина. <...> Так вот зачем они шли в Дровяной переулок, куда позвала их Козлова».

В рассказах последних двух книг, написанных после войны, мотив утраты различия между героями воздвигается на металитературный уровень, развиваясь в мотив невозможности для автобиографического повествователя отличить себя и свой внутренний мир от объекта своего описания. Моргунова, едущего в электричке героя рассказа «Человек в зеленых очках» (Кн. 7. 35: 502–514), окружает постепенно опустошающийся, теряющий качества мир: в наступающих сумерках поле за окном «стало темнеть. Вскоре зеленого уже нельзя было видеть», поезд идет «по бесцветному полю. В окошко ничего не было видно». Внутри темного купе также «пусто», однако там находится некто – вернее, «какие-то очертания, похожие на человеческую фигуру», невидимый сосед поет, однако «слов нельзя было разобрать, и мелодия тоже была непонятна». Постепенно окружающее опустевшее пространство, а потом и сам Моргунов становятся функцией невидимого соседа в зеленых очках: когда тот дает Моргунову прикурить, Моргунов начинает видеть все вокруг в зеленом цвете: «← это вполне понятно, – ответил он [сосед по купе], – я в зеленых очках. Я все вижу зеленым. Вокруг меня существует зеленый мир. – Но позвольте, – сказал Моргунов. – Это ведь вы в зеленых очках. Почему же я, именно я, увидел, что вокруг меня все зеленое. Человек в зеленых очках засмеялся. – Это пустяки, – сказал он. – Это еще сущие пус-

тяги. Вы можете видеть гораздо более странные вещи». После этого «я» Моргунова окончательно утрачивает автономность и растворяется в «человеке в зеленых очках»: «— Теперь мы будем думать, — сказал человек в зеленых очках. В уме Моргунова поплыли мысли, в которых он ничего не мог разобрать, а потом они все исчезли, и Моргунов увидел со страшной ясностью, как по зеленому полю без остановки движется поезд, и два человека лежат на полу пустого вагона. — Кто из них я? — успел подумать Моргунов, и вдруг почувствовал, что он поет, но только сам не может понять слова своей песни и не разбирает ее мелодии». Поезд останавливается, Моргунов пытается получить у соседа ответ на главный вопрос: «ваш зеленый мир — это и есть бессмертие?», однако, так ничего и не узнав, остается один в пустом, темном, зеленом мире («Улица была пуста. Зеленый фонарь висел под воротами. В окнах было темно») и уходит, «сам не зная куда».

В самых последних рассказах мотив оккупации объектами описания мира и личности повествователя переводится на автометалитературный уровень — это происходит с «я» самого автора, «поэта»: таким образом проблематизируется сама возможность литературы.⁵³ Писатель, автобиографический повествователь рассказа с литературным заглавием «*Поэзия и правда*» (Кн. 7. 35: 515–520; рассказ посвящен М. Н. Ржевусской, жене Вс. Петрова), видит в окно нищего старика, на спину которому, как ему кажется, вскочил гусь и стал клевать его в голову. Постепенно писатель перестает различать себя и старика, на которого смотрит и о котором пишет: «на спину мне вскочил гусь и клюет мою голову. <...> Я прихрамывал и опирался на палку. Я прихрамываю с тех пор, как меня ранили на войне. Но я не старик. Я не нищий. Это мне показалось. Это все ерунда», и в результате сам перестает существовать (в комнату входит жена писателя и садится в кресло: «Как она могла туда сесть, если там уже был я? Разве оно было пусто?»). Рассказ заканчивается полным распадом идентичности писателя и его способности к повествованию:

«Под окнами шел старик. Это был не я. Это был нищий. На спине у него был белый мешок. Меня вовсе не было. Вот что случилось со

⁵³ Антиинтертекстуальность обэриутской поэтики, свойственная Вс. Петрову далеко не в радикальной форме, декларирована в двух рассказах, где действуют известные писатели, «*Сологуб*» (Кн. 1. 32: 6–7) и «*Лермонтов и Пушкин*» (Кн. 3. 33: 149–152): в первом сюжет мотивирован сном, где Сологуб замещен его тростью, во втором «Лермонтов» и «Пушкин», а также появляющаяся в финале «голова Достоевского» оказываются «однофамильцами» известных писателей.

мной. <...> Это случилось со мной. Но где же был я? Нет, это случилось, но не со мной. Где был я? Не это случилось, и совсем не со мной. Теперь я не знаю, где я. Что случилось? Почему же я – это совсем другой человек, не старик и не нищий, не жена и не я, и все-таки я, тот самый, кто смотрит в окно и пишет эти слова?».

Этой же теме посвящен заключительный рассказ последней, восьмой книги «Философских рассказов», «Поэт и герой» (35: 612–622), с жанровым подзаголовком «Рождественский рассказ». Повествователь-«поэт» начинает вполне традиционный рождественский рассказ: «В сорокаградусный мороз, когда воздух становится чистым и прозрачным, через ледяную площадь перебирался старичок, закутанный в шубу и обвязанный башлыком. Он шел за газетой». Полная власть «поэта» над своим «героем» представлена во вполне традиционных металитературных метафорах: будучи невидим для героя, поэт видит насквозь его мысли, следует за ним, оберегает, потом, наскучив, толкает, чтобы тот упал. Однако постепенно в мире, казалось бы полностью подвластном «поэту», происходит метаморфоза: старичок (относительно которого у поэта и раньше было подозрение, что тот «должно быть, способен понимать совсем другие вещи») автономизируется, вступая с поэтом в метафизический диалог, после чего по собственной воле исчезает, а вместе с ним исчезает и мир, который, как казалось «поэту», был продуктом его творческой воли:

«– А если все стало прозрачным, то почему мы не видим сквозь вещи? – спросил я.

– Почему же не видим? Я вижу. Я различаю сквозь стенку грузовика, который нас объезжает, что в нем лежит промерзшая туша заколотой лошади, а сквозь мускулы и жилы этой туши я различаю замерзший комочек духа, но он уже не прозрачен, потому что принадлежит другому миру, – с глубокой серьезностью сказал старичок и посмотрел на меня».

Старичок, который видит «поэта», считавшего себя невидимым для героя, уходит по своей воле, а вместе с ним меняется и становится невидимым уже для поэта весь мир, который, как казалось, был им же выдуман: «Я рванулся за ним [старичком], не понимая, что же такое произошло. Вокруг нас уже не было ни площади, ни скользящих грузовиков. Только холод и страшная прозрачность, в которой не было ни света ни темноты, окружали меня и старичка. И в этой пустой прозрачности старичок понемногу становился тоже прозрачным и вскоре сделался невидимым для меня». Одновременно в плане «рождествен-

ского рассказа» старичок, упавший на площади потому, что его толкнул невидимый автор, умирает – «замерз, как рождественский мальчик»; это вмешательство «судьбы» и «смерти» в художественный вымысел также вызывает у «поэта» растерянность и страх:

«Вот что я наделал! А разве я хотел этого? Я хотел только пошутить и немного поумничать, показать занятого добродушного старичка, у которого потерялись очки. Все должно было хорошо кончиться. А вот что вышло! Я не знал, что смерть так близко стоит и так легко приходит. Я не знал, что не поэт управляет судьбой своего героя, а сама судьба ведет за руки их обоих, невидимая поэту, но, может быть, ощутимая для героя, если в самом деле в нем есть комочек духа, который ведь я же, поэт, отрываю от себя и вкладываю в него. И тогда судьба расправляется с ним, как хочет, не слушая моих желаний и превращая героя в нечто, может быть, большее, чем сам поэт».

Таким образом, последний рассказ последнего сборника «Философских рассказов», несмотря на то что эта книга выглядит незавершенной, так как не заполнена до конца, лишена оглавления и датировки, оказывается вполне закономерным финалом литературного предприятия, фиксирующим тотальное недоумение и ужас автора перед миром и писательством, открывшимися ему в ракурсе обэриутского мировосприятия.

* * *

Сологуб

Высокие корпуса, вроде фабричных общежитий. В одном из них мне надо найти Сологуба. Поднялся на второй этаж, иду по коридору. Оттуда прямая, почти отвесная лестница в комнату. Я поднялся как в люк, прямо из пола вышел. Вижу жену Сологуба, Клеопатру в белой кофточке. Она говорит: Федор Кузьмич умер, ничего не оставил, вот только – и подает мне листик со стихами и тросточку. В стихах (я догадался) было написано про Сапунова, утонувшего художника – будто его убили. Я вышел, а внизу на меня напали собаки, так и вцепились. А я тросточкой сологубовой – одну, другую, третью – всех.

(Кн. 1. 32: 6–7⁵⁴)

⁵⁴ Тексты публикуются с сохранением значимых особенностей авторской пунктуации.

Ничто

Глава I

Ф. Окрошков имел особенное свойство: иногда он исчезал, иными словами становился невидным и переставал где бы то ни было существовать. Это началось у него еще в сравнительно молодом возрасте. Однажды он исчез ненадолго из-за стола в малознакомом доме, но этому не придали никакого значения. Однако после он стал часто исчезать когда на минуту, когда на две, а когда на неделю. Знакомые думали, что Ф. Окрошков пьет или в кого-то влюблен, а на службе очень злились и собирались его согнать. Но Окрошков очень стыдился и скрывал и никому не признавался, что исчезает.

Глава II

Так шло, пока Окрошков не познакомился в бане с неким старичком Антоном Осиповичем, который рассказал, что питается всякими пустяками, как например скорлупой от орехов и куриными перьями.

- Зачем вы кушаете такую гадость? – спросил его Окрошков.
- Она мила моему сердцу, – ответил Антон Осипович.
- Но ведь это невкусно, – сказал Окрошков.
- А я знаю, что кое-кто исчезает, – ответил Антон Осипович и щелкнул суставами.

Но на самом деле он толком ничего не знал про Окрошкова и сказал наобум, потому что любил говорить не подумавши. Окрошков же так испугался, что не мог пересилить себя и сразу исчез. Антон Осипович посмотрел на пустое место и пошел домой, говоря: «в сущности, ничто не изменилось».

Глава III

После этого случая Окрошков боялся встретить Антона Осиповича и если замечал его, то прятался. Но вот однажды он пошел покупать одну вещь и встал в очередь. А там стоял Антон Осипович. Окрошков спросил его: «Вы последний?». Антон Осипович не повернулся и не ответил. Тогда Окрошков решил обойтись с ним полюбезнее

и сказал: «Здравствуйте, Антон Осипович. Имел удовольствие с вами обмываться. Вы ведь кушаете гадости. А я нет. Вы играете на цитре, а я пою. Недавно сочинил прелестную пьесу для цитры. Вот бы хехе исполнить ее с вами». Антон Осипович не повернулся и не ответил. – «Вы меня не помните?» – спросил Окрошков. Антон Осипович молчал. «Боже мой, – подумал Окрошков, – моя болезнь ухудшатся. Я уже изглаживаюсь из памяти». В очередь встала женщина с красными волосами и спросила: «Вы последний?» – «Безусловно!» – ответил Антон Осипович. Окрошков затряс подбородком и ушел. Антон Осипович произнес: «и тут ничего не изменилось».

Глава IV

Целый месяц Окрошков не смел никуда показаться, но за это время ни разу не исчез. Он просто сидел дома и только выходил за папиросами. А если встречал знакомого, и тот ему говорил «куда вы исчезли», то Окрошков краснел и от смущения ничего не мог сказать. Наконец он осмелел и пошел на службу. Там его не сразу узнали, но все-таки пустили. Но в тот же день Окрошков исчез с общего собрания. На следующий день он исчез из кооператива в ту минуту, когда ему отвешивали сыр. А после этого снова исчез из трамвая под носом у кондукторши. Тогда он решил начать лечиться и пошел в больницу. Тут он чуть было не исчез из очереди в приемной, но пересилил себя и досидел.

– Здравствуйте, больной, – сказал ему доктор.

– Извините, но я исчезаю, – сказал Окрошков.

– В чем ваша болезнь? – спросил доктор.

– Я все сказал, я исчезаю, – ответил Окрошков.

– Тогда уходите, – сказал доктор.

– А как же леченье? – спросил Окрошков. Но доктор соскочил с кресла с такой злобой, что Окрошков исчез.

Глава V

Через неделю Окрошков увидел во сне человека, который сказал ему: «вы арестованы. Я барано-бык». Он повел Окрошкова вниз по лестнице в поле с кустами. Там привязывали быков к

большим шаром и поднимали на воздух. Некоторые быки взлетали очень высоко и разрывались. Другие спускались обратно, тяжело дыша. Окрошков тоже запыхался и пошел за кусты. Он делал очень большие шаги, но человек барано-бык догнал его и закричал: «как вы смеете как ты смеешь как вы смеете как ты смеешь куда вы исчезаете». – «Я не исчезаю», – сказал Окрошков и почувствовал, что расплывается в воздухе, но только медленно. Человек барано-бык тоже стал расплываться и Окрошков узнал, что это доктор и Антон Осипович.

Глава VI

На следующий день Окрошков пошел прогуляться. Когда он спустился по лестнице, он почувствовал, что на него кладут мешок. Но этого мешка не было видно. Тотчас же он стал подниматься по неизвестной лестнице, на которой ворохами лежали сухие листья. На самом верху была дверь. Оттуда сказали: «антре». Антон Осипович сидел на подоконнике с ногами наружу и забавлялся с цитрой. Когда Окрошков подошел, он снял с него мешок и вынул оттуда свою провизию, т. е. всякую скорлупу и подобные вещи. Потом он сказал «мерси».

– За что вы меня не любите, такой почтенный Антон Осипович? – спросил Окрошков.

– Ты не цел, – сказал Антон Осипович и не повернулся. – Лучше бы все время чего-нибудь не было, например ноги, чем иногда весь исчезаешь, – сказал он еще громче и не повернулся. – Я считаю, что это ничтожество, да да, что вас нет, – закричал он и спрыгнул с подоконника. Затем он привязал Окрошкова за ногу струной и щипнул цитру. Окрошков рванулся, но сразу исчезнуть не мог: сначала исчезла непривязанная нога, потом руки, потом туловище, потом шея, потом нос и уши, потом понемногу вся голова стала гладкой как шар и разорвалась. А привязанная нога осталась.

Глава VII

Через год она высохла и Антон Осипович вымел ее вон.

(Кн. 1. 32: 36–45)

Лопата

Д. И. Хармсу

Извозчик выехал со двора и перекрестился, потому что ему слышался колокольный звон. А в это время Кляпкин посадил ему на сиденье лопату. Извозчик поехал, а Кляпкин побежал за ним и с кривлянием подмигивал прохожим. На углу он толкнул городского с медалями. – Погоди, – сказал городской извозчику, – почему лопата? – Не продаю, – ответил извозчик. – А зачем везешь? – спросил городской. – И не везу, – ответил извозчик. – Врешь, не груби, – сказал городской. – И не грублю, – ответил извозчик. – Не ври, а то позову милиционера, – крикнул городской. – Вот те крест, – сказал извозчик, перекрестился и поехал. Но городской побежал за ним, а Кляпкин прицепился к рессорам и кривлялся, размахивая ногами. – Стой, грубиян и клятвопреступник, – закричал городской, – граждане, идите за милиционером. – Я побегу, – сказал Кляпкин. Извозчик посмотрел назад и очень удивился. – Зачем ты здесь, проклятый сатана, – сказал он, – подумай лучше о своей больной бабушке. – А палка-то липовая, – сказал Кляпкин и прыгнул на землю. От этого лопата свалилась и смазала извозчика по спине. – Ах так, – сказал извозчик и, схватив лопату, со страшной силой перекрестил ею Кляпкина по черепу. Тот упал. Извозчик снял шляпу, перекрестился и сказал: – я не видел, даю вам честное слово, я не видел лопаты. – Хорошо, – сказал городской, – я не стану звать милиционера, но ты еще ответишь за клятвопреступление.

(Кн. 2. 32: 56–60)

Павленька

А. А. Ахматовой

Павленька был слепой и пел на рынках. Так как он все равно ничего не видел, ему даже нравилось жить. Но все-таки он понимал некоторую разницу между вещами. Один раз ему подали огурец со сметаной. В другой раз ему подали бумажку, в которой была завернута голова петуха. А еще в другой раз привели живого гуся и заставили его клюнуть Павленьку в лоб. Павленька любил милиционеров и, когда они свистели, старался петь повизгливее. Павленька пел, когда раздавался свисток, и все кругом затопали ногами. Мимо

прошел милиционер и стало тихо и хорошо. Милиционер подошел и сказал: – Спой песню. – Какую, – спросил Павленька, – плохую или хорошую? – Милиционер оглянулся и, увидев, что близко никого нет сказал: – Спой плохую. – Павленька запел как только мог визгливо. Милиционер закинул голову, расставил руки и, распахнув шинель, загородил ею Павленьку. Но в это время сзади подкрались какие-то люди и взяли милиционера под мышки. – Ах, – сказал милиционер, – уверяю вас, что я мешал ему петь. – Пойдем, – сказали люди. Павленька кончил песню. – Пойдем, – сказали ему люди. Павленька взял железную палку и встал, но его схватили под руки. Палка провалилась куда-то вниз, а Павленька освободился и пошел как по подушкам, до того мягко было идти. А на самом деле он шел уже по небу.

Павленька раскрыл глаза и увидел, что по сторонам висят какие-то треугольники. – Это все гитары, – подумал Павленька. – Это все мертвые, – понял он. – Они сухие, – решил Павленька и хотел потрогать, но не мог, потому что у треугольников не было никакой ширины и они не держались в руках. – Это тела, – подумал Павленька, – души невидимы, я их узнаю после смерти. Он шел, пока не запутался в нитках и не споткнулся. Тогда он опять ослеп и почувствовал, что его держат и подымают по лестнице. А наверху был такой разговор: – Ведите, – сказал невидимый человек. – Ведем, – ответили невидимые люди. – Сюда, – сказал невидимый человек. – Понятно, – ответили невидимые люди. – Привели? – спросил невидимый человек. – Он тут, – ответили невидимые люди. Павленька вытянулся и произнес очень тонким голосом: – Я спел. – Пали, – сказал невидимый человек, и Павленька упал, обливаясь кровью.

(Кн. 2. 32: 75–82)

Три конца

Когда умер Смычков, его жена купила два гроба и в один положила умершего Смыčkова, а в другой положила умирающего Смыčkова. На крышки она пришила кружево со своего белья. Кроме того, в первый гроб она насыпала спичек и поставила разные бутылочки, пузырьки и подобные склянки. После этого она наняла грузовик, чтобы везти гробы на кладбище.

– Двое? – спросил шофер.

– Один мертвый Смычков, – проговорила жена Смычкова.

– На всякий случай? – спросил шофер. – Просто для игры ума, – сказала жена Смычкова. – Вы в кабину? – спросил шофер. – Сверху вместе с ними, – ответила жена Смычкова и велела ехать как можно скорее. Грузовик застучал изо всех сил и даже шофер не слышал такого разговора:

– Я еще я, – сказал умирающий Смычков, – а я-ты уже умер?

– Ты-я скончался, – сказала жена Смычкова и показала на гроб с умершим Смычковым.

– Там только спички, – хотел сказать умерший Смычков, но не мог.

– Он-ты не различаешь вещей, в гробу еще баночки, – сказала жена Смычкова.

– А я не умер? – спросил умирающий Смычков.

– Кто знает, – сказала жена Смычкова.

– Дай мне спичку и склянку, – сказал умирающий Смычков.

Но в эту минуту грузовик очень сильно трянуло. Гробы свалились и умерший и умирающий Смычков выпали из них. Шофер выпал из кабинки. Жена Смычкова устояла на ногах. Нужно было скорее поправить несчастье. Жена Смычкова, не разобрав, схватила шофера и сунула его во второй гроб. Умирающего Смычкова она положила в первый гроб. Умершего Смычкова она посадила в кабинку, и грузовик поскакал по мостовой.

– Возьми сам, – сказала жена Смычкова, обращаясь ко второму гробу. Но шофер лежал в нем без движения.

– Я различаю все спички и пузырьки, – подумал умирающий Смычков, но не взял эти вещи, потому что был слишком слаб для этого. Говорить он больше не мог.

– И умирающий умер, теперь они соединятся, – сказала жена Смычкова.

Вскоре они поехали на кладбище. Умерший Смычков помог жене снять гробы с грузовика, потом завел машину, вскочил в кабинку и помчался прямо на церковь. Он проехал насквозь ее стену и стал невидим. Жена Смычкова открыла гробы и хотела переложить умирающего Смычкова к умершему, так как думала, что они оба мертвые. Но в одном из них она узнала шофера. – Как, – закричала жена Смычкова, – вы живы? – Да, – сказал Шофер и поцеловал ее. – И он, – сказала жена Смычкова, посмотрев на умирающего Смычкова, который не говорил, но в одной руке держал пузырек, а в другой спичку.

Шофер женился на жене Смычкова. Умиравший Смычков остался пока жить на кладбище у сторожа. Там он окреп и впоследствии переехал в другое государство.

(Кн. 2. 32: 95–194)

Два друга

Вместо того чтобы идти прямо, как им было нужно, Сухарев и Сукачев повернули во двор. Как же так? А вот: у Сукачева кольнуло в бок; он согнулся направо, а Сухарев подумал, что значит надо свернуть, и зашел вперед Сукачева, а тот подумал, что уж пришли и пошел за Сухаревым и обогнал его, а Сухарев не захотел отставать и обогнал Сукачева, а Сукачев опять обогнал Сухарева, и тот опять-таки обогнал его. Вот они шли по двору впереди друг друга и думали: Если я не туда пойду, он мне скажет «куда ты идешь?».

Во дворе была одна-единственная дверь. Сухарев открыл ее, а Сукачев шмыгнул вперед. Но Сухарев тоже хотел первым войти и толкнул Сукачева в поясницу. Тот полетел, но и Сухарева сбил с ног. Так они оба и попали туда, неизвестно кто впереди. А дверь сама за ними захлопнулась.

Вышло, что Сухарев и Сукачев были в комнате, и дальше не могли идти, потому что не было другой двери. Окон тоже не было. – Зачем ты меня сюда заманил? – сказали друг другу Сухарев и Сукачев; но Сукачев сказал трусливо, а Сухарев злобно. – Я тебя не заманивал, ты сам, – ответили они. – Что я тебе сделал? – спросили они, но Сухарев спросил трусливо, а Сукачев подло. – Я тебе худого не желаю, – сказал Сухарев, снимая ремень. У Сукачева кольнуло в бок, и он сказал: – Честное слово, у меня нету дурного намерения. – Преступник, – сказали они друг другу. При этом Сухарев схватил Сукачева и, приподняв, принялся сечь его ремнем. А Сукачев лягал ногами не переставая ни на одну секунду, так что надо считать, что и он порол Сухарева сколько мог.

Тем временем в комнату пришла прачка. Сначала она задумалась, но потом поняла в чем дело и выгнала обоих друзей на двор. Сухарев подпоясался, и Сукачев завязал шнурки на своих ботинках. После этого они рядом вышли на улицу и пошли прямо, как им было нужно.

(Кн. 3. 33: 126–131)

История четырех чиновников

– В чем заключается история четырех чиновников? – спросил Агеев у Агапитова после того, как тот обещал рассказать ему эту историю.

– Вот в чем заключается эта история, – сказал Агапитов и рассказал ее Агееву.

(Кн. 3. 33: 140)

Лермонтов и Пушкин

– Сыграем? – лихо спросил Лермонтов, щелкая шпорами.

– Лучше давай бороться, – ответил Пушкин.

Оба оставили карты и бросились друг на друга. Лермонтов был сильнее, но Пушкин гораздо ловчее. Через двадцать минут он подставил ножку, и Лермонтов брякнулся на живот.

– Врешь, – закричал он, и со злобой укусил Пушкина за икру. Пушкин взвизгнул и поддал Лермонтова коленом.

– Опять безобразная свалка, – сказала жена Пушкина и Лермонтова, внося обед. Оба встали с пола и принялись за еду. К чаю пришли дамы – жена Пушкина и жена Лермонтова.

Через некоторое время Пушкин был убит на дуэли. Жена Лермонтова тосковала о нем и с тоски умерла. Жена Пушкина и Лермонтова последовала за ней. Лермонтова от горя помешался и чуть не бросил курить, но потом успокоился и женился на жене Пушкина. Та вышла за него замуж.

Вскоре появилась голова Достоевского, критически осмотрела все это и с довольным видом скрылась в темноту.

—
Это были не поэты, а их однофамильцы. И голова Достоевского была головой однофамильца знаменитого писателя.

(Кн. 3. 33: 149–152)

Несчастный

Очень рано утром, когда на улицах никого еще не было, Поплевин возвращался домой мимо Мальцевского базара и увидел, что на троттуаре сидит кошка. Подойдя поближе он разглядел, что это не

кошка, а шапка или небольшой мешок. А когда он подошел вплотную, то на этом месте вообще ничего не оказалось.

Поплевин с удивлением огляделся и увидел, что на некотором расстоянии сзади него сидит эта же самая кошка. Он подошел к ней и вскоре заметил, что это не кошка, а мешок или, может быть, шапка. А подойдя вплотную, убедился, что там решительно ничего нет.

Поплевин обернулся и снова увидел кошку на том самом месте, где она сидела в первый раз. Тут он очень внимательно всмотрелся и совершенно ясно разглядел, что это кошка. А когда он приблизился на несколько шагов, стало очевидно, что это либо шапка либо мешок. Поплевин снял пиджак и держа его в руках, бросился на этот предмет. Но он накрыл пиджаком пустое место и вдобавок свалился и расшиб себе переносицу.

Поднявшись, Поплевин увидел кошку на некотором расстоянии позади себя. Чтобы не шуметь, он снял башмаки и стал тихонько к ней подкрадываться. Но почти сразу он понял, что это все-таки не шапка, а кошка или небольшой мешок. Тогда Поплевин остановился, нацелил глазом и потом, не надев башмаков, очень быстро побежал в противоположную сторону.

(Кн. 3. 33: 153–155)

Разговор с призраком

– На самом деле тебя нет, – сказал Гусачев, показывая пальцем на призрак Степана. Тот промолчал.

– Разумеется нет, – продолжал Гусачев и, махнув рукой, хотел выйти из комнаты. Но, однако, не вышел. – Тебя не может быть, – прибавил он.

– Да, но по-моему нету тебя, – ответил призрак Степана.

– Ну, уж тут извини, – сказал Гусачев, – я есть и могу это тебе доказать. – Я есть, – закричал он изо всех сил и до того громко, что в комнате стало неприятно.

Призрак Степана промолчал.

– Ах, это не доказательство? – сказал Гусачев, – тогда имей в виду, что я есть потому, что могу делать все, что только мне вздумается.

– Делай, – ответил призрак Степана.

Гусачев нахмурился, посмотрел по сторонам и потоптался на месте, но не придумал, что бы ему сделать. – Мне как-то сейчас ниче-

го не хочется, – сказал он. – Значит, не можешь? – спросил призрак Степана. – Могу, но только не знаю что, – сказал Гусачев.

– Тогда лови меня, – предложил призрак Степана и стал перелетать по комнате из одного угла в другой. При этом он задевал Гусачева и, чтобы раздражить, хватал его за бороду. Но Гусачев не кидался за призраком Степана.

– Что же ты стоишь? – закричал призрак, пролетая под самым носом у Гусачева. Тот молчал. – Ты, значит, отказываешься? – спросил призрак. – Мне стало печально, – сказал Гусачев и смахнул слезу со своей бороды.

Призрак смутился и перестал скакать по комнате.

– Я ведь не знаю, кто из нас прав, – сказал Гусачев.

Призрак что-то произнес, но неразборчиво.

– Может быть и в самом деле меня нет, – сказал Гусачев и отвернулся от призрака.

– Я тоже ничего про себя не знаю, – хотел сказать призрак Степана, но внезапно изменился и, потеряв очертания, исчез.

(Кн. 3. 33: 162–167)

Явление

Однажды Паксин, глядя на верхушку сосны, увидел, что по небу бежит собака.

– Как же так и что это значит? – подумал Паксин; но сразу не смог найти ответа.

– Тут надо серьезно подумать, – решил он и стал вдумываться в это явление.

Он думал о нем очень долго, но потом перестал и зажил так же, как жил до рассказанного здесь события.

(Кн. 3. 33: 168)

Люди

Адамов происходил от Адама и был велик.

Абрамов происходил от Абрама и был такой прелестный, что все его любили, а он никого.

Были также Сумкин и Подсумкин, которые ни от кого не происходили и не выделялись ничем особенным.

Наконец, Антонов происходил от Антона, но жил самостоятельно и не желал знать ни Адамова, ни Абрамова, ни Сумкина, ни Подсумкина.
(Кн. 3. 33: 169)

Единство мира

Некий человек – назовем его «Сергей Сергеевич» – очень боялся мышей. Он совершенно не терпел, чтобы при нем хвалили или ругали этих животных, потому что его сразу начинало тошнить. А своей жене он запретил произносить слово «мышь». Вместо этого он велел говорить «источник».

– А как мне называть источники, – спросила жена.

– Ну, хоть мышью, – ответил Сергей Сергеевич, но спохватился и сказал: – я тебе запрещаю произносить это слово. Значит, источники ты должна называть как-нибудь иначе. Придумай сама.

– Я не хочу придумывать пустяков, – сказала жена.

– Захочешь, раз я велю, – ответил Сергей Сергеевич и, подумав, прибавил: – вместо «источник» ты будешь говорить «новость».

Жена хотела спросить, как же ей называть новости, но Сергей Сергеевич не дал ей времени и приказал идти.

Вот что из этого вышло: Сергея Сергеевича стало тошнить, когда при нем упоминали источники. А когда говорили «новость», он мысленно рисовал источник и его тоже тошнило.

А жена Сергея Сергеевича стала придумывать названия всему. Тропинки она назвала полотенцами. Полотенца она назвала половинами. Половины она назвала копилками. И когда она кончила называть всё по-своему, ей не хватило одного слова.

– Какого именно? – спросил Сергей Сергеевич, услышав об этом.

– Я не скажу, потому что тебя стошнит, – ответила жена.

– Меня уже тошнит от нескольких слов, – сказал Сергей Сергеевич и вспомнил про новость и источник.

– Теперь беда, – подумала жена, – теперь его будет тошнить от всего, что я придумала.

И действительно, Сергея Сергеевича стало тошнить решительно от всех слов: он слышал «копилка» и сразу думал о мертвецах, половинах и прочем, и под конец и об источниках, и его тошнило. Он запретил своей жене произносить какие бы то ни было слова, потому что все они стали значить одно и то же. Поэтому с ним ни о чем нель-

зя было разговаривать. И кроме того, при виде Сергея Сергеевича все остальных людей тоже стало тошнить, так что никто и не хотел с ним разговаривать. Каков же был конец всего? Сергей Сергеевич от тошноты ничего не мог есть и умер от голода.

(Кн. 3. 33: 170–176)

Болезнь и здоровье

– Ест меня ржа, – сказал Соколов, – и плесень меня одолела. Встанешь утром, посмотришься в зеркало, а шея вся в плесени. Жену заставляю оттирать меня наждаком, а ноги мажу ружейным маслом. Только почти что не помогает.

– Это еще что, – сказал свояк Соколова, – у меня, брат, похуже. Все мои подмостки обрушились, ходить не могу, а тут завелся еще жучок, тикает в ухе, жрет кость. Обидно, ведь я еще не в могиле.

– Эх, осилили нас, – едва слышно вздохнул Соколов. В это время пробило полдень.

– А говорят, от всего помогает формалин, – сказал свояк Соколова.

– Да ну! – сказал Соколов, – это, знаешь ли, совсем другое дело. Тогда, значит, проживем и поработаем. Пойдем пускать голубей. И оба родственника бодро пошли на голубятню.

(Кн. 4. 33: 261–263)

Сходство и различие в судьбе

Некий дьякон прожил 87 лет и по неизвестной причине умер. Другой дьякон, ничего не зная о предыдущем, жил до 87 лет без одного дня и тоже умер. А купец Мартинсон испугался бешеного кота и не приходя в сознание умер. Вот также один пастух вышел поутру в поля и заиграл на рожке. А когда пришли коровы, пастух скоропостижно умер. Был еще известный врач, который лечил народ от запоя. Но весь этот народ от первого до последнего человека вымер. Тогда известный врач не захотел дальше жить и проломил себе голову. Некто Фролов хотел выпить чаю, да разбил очки, не разобрал, что берет, и по ошибке выпил молока, которого совершенно не выносил; он умер в страшных мучениях. Что же тогда сказать о простом мужике, который шел по дороге и потерял свои лапти? Вот он

стал их искать на дороге и вдоль дороги и зашел в неизвестное место, откуда уже не мог вернуться и умер от голода. Был еще такой старик Платон Пирогов. Он все жил и жил и не помирал, потому что лечился травой. Он только и делал, что поливал свою траву. Ходить уж он не мог и все время лежал, а траву посадил у себя на коленях. Но это не нравилось его соседям. И вот однажды зять сговорился с дочкой и зарубил старика топором. Теперь задам себе вопрос – есть ли между этими людьми сходство и есть ли между ними различие? И будет ли правдой если я скажу, что сходство заключается в смерти, а различие в жизни? Или если я скажу, что сходство заключается в жизни, а различие в смерти? Или если я скажу, что сходство заключается в жизни и смерти, а различия нет? Или что нету сходства, а есть одно различие? А можно еще сказать, что в жизни этих людей сходства больше, чем различия, а различия больше, чем сходства. И то же самое можно сказать про их смерть. Можно ответить и так и совершенно иначе. Если все эти люди прежде жили, а потом умирали, то в этом и есть между ними сходство. Но если есть между ними сходство, то есть и различие. Не в том ли оно заключается, что жил один долго, а другой недолго? Или в том, что один, умирая, не приходил в сознание, а другой приходил в сознание? Нет, не в том, потому что тут больше различия, чем сходства. Если один идет направо, а другой идет налево, то, значит, оба идут, и в этом сходство, а не различие. Но если есть сходство, то, значит, есть и различие. И если его нет в жизни и смерти, то, значит, оно наступает после смерти. Только что же мы об этом знаем и что мы об этом можем сказать?

(Кн. 4. 33: 264–270)

Саблуков и Капустин

Грустный, сам не зная почему, Скреблов пошел по улицам Охты на кладбище, где лежали его друзья Саблуков и Капустин. Но он не знал, что они там похоронены, а думал, что они живы и здоровы. Когда он пришел на кладбище и пошел бродить, проваливаясь в снег, то вдруг увидел два креста, на которых было написано одно и то же: «Саблуков и Капустин».

– Это глупо, – сказал Скреблов, – нужно на одном написать «Саблуков», а на другом «Капустин». Тогда получится совсем другое дело.

Подумав так, Скреблов решил зайти к своим друзьям Саблукову и Капустину и рассказать им, какую вещь он видал.

– Вот-то посмеются, – подумал Скреблов, проваливаясь в снег.

Так как друзья жили далеко, у взморья на Васильевском острове, то Скреблов решил идти по Неве. Он вышел на середину Невы и пошел по льду. Тут он в последний раз провалился и сию же минуту пошел на дно. Он утонул. На этом кончается первая половина настоящего рассказа и отсюда вторая половина становится непонятной. Однако в ней-то и заключается самая суть.

Скреблов ничего не замечал и шел по льду. Он был поглощен своими мыслями. Когда уже было темно, он пришел в тот дом, где раньше жили Саблуков и Капустин. На двери квартиры висела их фотографическая карточка. Скреблов стал стучать. Ему открыла квартирная хозяйка.

– Почему вы такой мокрый? – спросила она Скреблова.

– Да вот, все проваливаюсь в снег, – ответил Скреблов.

– Этак вы можете простудиться и умереть, как Саблуков и Капустин, – сказала хозяйка.

– Значит, это они-то и умерли, – спросил Скреблов.

– Да, – сказала хозяйка и показала на фотографию: – вот Саблуков, а вот Капустин.

– Как же, как же, – сказал Скреблов, – я как сейчас помню: это вот Саблуков, а вот это Капустин.

– Нет, – сказала хозяйка, – вот это Саблуков, а то Капустин.

– Ты, хозяйка, путаешь, не Саблуков и не Капустин, – сказал мужик, проходивший в это время по лестнице. Но хозяйка повела плечом и мужик исчез.

– Я что хочу вас спросить, – сказал Скреблов.

– Пожалуйста, – сказала хозяйка.

– Только я не могу вспомнить, – сказал Скреблов.

– Ничего, вспоминайте, – сказала хозяйка.

– Я чего-то не понимаю, только не помню чего, – сказал Скреблов.

– Еще бы, вы такой мокрый, – сказала хозяйка.

– Я что-то путаю! – крикнул Скреблов.

– И ты, хозяйка, путаешь, – сказал мужик, проходивший в это время по лестнице. Хозяйка вздрогнула и спряталась за дверь. Но мужик уже исчез.

– Подождите, подождите, – закричал Скреблов, – сейчас я у вас что-то спрошу.

Хозяйка встала в дверях и высунула голову на лестницу.

– Вы, верно, не любите мужиков, – спросил ее Скреблов.

– Не люблю, – сказала хозяйка и сразу закрыла дверь.

Скреблов сошел на улицу, стараясь вспомнить, зачем он ходил к Саблукову и Капустину. – Нужно пойти назад и снова сюда прийти, тогда я вспомню, – подумал Скреблов. И он пошел куда-то, думая, что идет на кладбище. – Нужно выйти на Неву, – подумал он и в ту же минуту провалился в снег.

– Ах вот, – сказал Скреблов, – я не понимаю, Саблуков и Капустин, это один человек или не один? Если надпись одна, то значит один, а если два креста, то значит два. Один или два?

– Один-два, – сказал мужик, проходивший в это время по улице.

– Мужик, ты будешь Саблуков, а я буду Капустин, – сказал Скреблов. Мужик согласился. – Теперь я буду считать, – сказал Скреблов, но мужик уже исчез.

– Пойду к хозяйке, кому же знать, как не ей, от нее все узнаю наверное, – закричал Скреблов. Тут кончается вторая половина этого рассказа, а впереди остается еще совершенно лишняя половина, которая ничего не объяснит. Но она короткая.

Когда утонувшего Скреблова достали со дна и сравнили, то это вместе с тем оказался и ходивший Скреблов. Но сколько было их, один или два, и почему один ходил, когда один утонул, этого никто не спрашивал, и спросить было некому, потому что если Скреблов и был один, или был не один, то теперь не осталось ни одного.

(Кн. 4. 33: 278–288)

Клетин и Клетин

Клетин грелся, сидя у керосиновой лампы, и вдруг захотел в другую комнату. Зачем бы? Этого он не знал. Однако же он пошел в соседнюю комнату, где было не прибрано и довольно пусто. Там он побыл немного и вернулся назад, но увидел, что на его месте сидит какая-то дама.

– Надо спросить, откуда эта дама и зачем она тут, – подумал Клетин.

Пока он это думал, дама сняла свое боа и стала сушить его на керосиновой лампе. Пошел небольшой дым. Клетин хотел закричать, но поперхнулся дымом и икнул.

– Кто тут ходит? – спросила дама, хотя Клетин стоял неподвижно.

– Я же стою, – хотел ответить Клетин, но вместо этого снова икнул.

– Ишь ты как, – сказала дама и, взяв боа, стала выгонять им Клетина из комнаты.

– Пошел, пошел, – кричала дама, стегая Клетина. При этом она так махала своим боа, что сбила на пол керосиновую лампу. Наступила полная темнота. Но дама продолжала хлестать по Клетину и выгнала его за порог и захлопнула за ним дверь.

А в соседней комнате, то есть именно в той, куда попал Клетин, послышался голос какой-то птицы.

– Это еще что такое? – подумал Клетин. Посмотреть ему не удалось, потому что было темно. Тогда Клетин стал ощупывать комнату руками. Но комната была пустая, и Клетин смог нащупать только самого себя.

– Кто же свищет, раз никого нет? – спросил себя Клетин.

– Значит я, – сказал кто-то Клетину, но это был он сам.

– Кто я? – спросил Клетин.

– Клетин, – ответил Клетин.

– Значит, я стою в пустой комнате около себя и говорю? – спросил Клетин.

– Да, – ответил Клетин.

– Как же мне со мной говорить? – спросил Клетин.

– Нужно говорить на я, – сказал Клетин.

– Сразу трудно сказать, что это значит, но непременно что-нибудь значит, – сказал он, помолчав.

– Вот например, никакой дамы на самом деле нет, а зато душа существует, – сказал он.

– Хотя бы, – ответил он.

– Что бывает Клетин и Клетин, – сказал он.

– Это так, – ответил он.

– Что полного знания нет, но собеседник спрашивает о том, что знает сам, и всё потому, что душа существует, – сказал он.

– Да, потому что бессмертная душа существует, – сказал он.

– А дамы, конечно, все-таки нет, но это надо проверить, – сказал он, помолчав.

– Это я проверю, – ответил он.

– Самому пойти посмотреть в ту комнату и просто поверить? – спросил он.

– Можно и так и этак, – сказал он.

– Конечно, можно и так и этак, – прибавил он.

– А как же я свищу? – вдруг спросил Клетин.

Но на этот вопрос не последовало никакого ответа.

– Как же я свищу? – настойчиво спросил Клетин. Но и на этот раз не последовало никакого ответа.

– Вот оно что! – подумал Клетин, – ведь если так, то и дама, пожалуйста, действительно есть.

И, почувствовав головокружение, как будто от угара, Клетин опустился на пол без сознания.

(Кн. 4. 33: 293–300)

Валерьян

Летом чудеса случаются чаще, чем зимой. Вот какое чудо случилось нынешним летом: мальчик Валерьян сидел на песке, играя в мяч (он был параличный). Вот на этом самом песке и было чудо, если можно сказать, что чудеса случаются в жизни людей. Параличный мальчик Валерьян сидел на песке и кидал мяч, который был привязан к ноге тряпицей, потому что мальчик был параличный и не мог ходить за мячом, если тот откатится. Этот мальчик Валерьян потянул на себя мяч, но тот закатился и не шел. Мальчик Валерьян опять потянул, но мяч все не шел. Тогда Валерьян потянул так сильно, что лишился всех своих и без того слабых сил и упал без дыхания. На этот раз мяч пошел. Но когда он пришел, то на песке был не мальчик Валерьян, а мужик Валерьян, который сидел, играя в мяч (он был слабоумный). Мужик Валерьян швырял мяч направо и налево изо всех сил, стараясь попасть куда-нибудь в окно и выбить стекло. Но мяч был привязан к ноге тряпицей, и вышло так, что, разлетевшись, мяч треснул самого мужика по голове. Мужик упал без чувств, а мяч опять закатился. После этого мяч стали трясти и тянуть как будто бы слабой худой ногой. Мяч сначала не двигался, а потом пополз, но так медленно, что когда он приполз, то на песке сидел уже не мужик и тем более не мальчик Валерьян, а старик Аверьян. Он кое-как играл в мяч, сидя на песке. Про него было можно сказать, что он умалишенный. И вот, когда это увидели, то старика Аверьяна свезли в дом умалишенных. Попав туда, он стал обдумывать один план, как оттуда уйти (какой план – это все равно). И вот мы теперь подошли к вопросу о чуде: для того, чтобы исполнить этот план, было нужно, чтобы произошло чудо.

Следовательно, вопрос таков: бывает ли чудо в жизни людей и правда ли, что чудеса чаще бывают не зимой, а летом, и что значит, что был параличный Валерьян, а стал слабоумный Аверьян, и можно ли назвать это чудом, которое случилось на песке.

А может быть и не бывает никаких чудес, и то, что мы ожидаем чуда, свидетельствует лишь о слабости нашей души и неспособности понять нечто, более значительное, чем чудо.

(Кн. 4. 33: 301–306)

Старуха и человек

Старуха и человек, у которого одна нога была босой, а другая в калоше, шли по мосткам и разговаривали о чуде.

– Что вы называете чудом? – спросила старуха, с трудом удерживая любопытство.

– Вот что такое, по-моему, чудо, – сказал человек, и при этом поскользнулся той ногой, которая была в калоше и чуть не слетел с мостков, но уперся босой ногой и пошел дальше.

– Ну, как же вы смотрите на чудо? – спросила его старуха с некоторым нетерпением.

– Вот как я смотрю на это дело, – сказал человек и при этом поскользнулся босой ногой и забрыкал, но при этом уперся той ногой, которая была в калоше, и кое-как пошел дальше.

– Что же вы скажете о чуде? – спросила старуха, все еще сдерживая нетерпение.

– Я вот что скажу, – ответил человек и поскользнулся при этом обеими ногами и едва не свалился с мостков, но уперся руками и пошел дальше на четвереньках.

– Вы, как видно, ничего не знаете о чуде, – сказала старуха и с этими словами спихнула человека с мостков в реку. На этом закончился разговор о чуде.

(Кн. 4. 33: 307–309)

Воздушная тревога

– Мне кажется, что я слышу звуки воздушной тревоги, – сказал Звонарев.

– Много ты там слышишь глухими ушами, – ответила Ольга Трофимовна.

– Да уж больше чем ты, – сказал Звонарев.

– Нет, меньше, – ответила Ольга Трофимовна. – Я вот действительно слышу звуки воздушной тревоги, а тебе они только кажутся, потому и меньше, – сказала Ольга Трофимовна.

– Вот уж не меньше, а больше, потому что звуков, может быть, пока еще и нет, а мне уже кажется, что они есть, – сказал Звонарев.

А на самом деле было не больше и не меньше, потому что звук воздушной тревоги уже раздавались, и Федя Кулаков с топотом вылез на чердак.

– Я думаю, что теперь пора идти в бомбоубежище, – сказал Звонарев.

– Я тоже так думаю, – сказала Ольга Трофимовна, и оба вышли на площадку.

Там они увидели Федю Кулакова, который стоял наверху и кривлялся, размахивая кнутом. Вниз по лестнице ползли на животах старухи. По ним бежали крупные молодые женщины. Нижний жилец с огромным узлом с разбега бросался на дверь в бомбоубежище, но все попадал не в дверь, а в соседнюю стену. За ним бросались многие другие жильцы, но тоже попадали не в дверь, а в спину нижнего жильца.

– Ты что-нибудь слышишь? – спросила Ольга Трофимовна.

– Я ничего не слышу, – сказал Звонарев.

– Еще бы, немного услышишь твоими глухими ушами, – ответила Ольга Трофимовна.

– А сама-то ты что-нибудь слышишь? – спросил Звонарев.

– Я сама ничего не слышу, – сказала Ольга Трофимовна.

В это время дом затрясло и что-то в нем завертелось со свистом и шипением. Все втянули головы в плечи и слушали свист и шипение. – Ты слышишь эти звуки? – шепотом спросила Ольга Трофимовна. – Мне кажется, что я слышу свист и шипение, – отвечал Звонарев. – А может быть ты и не слышишь этих звуков? – спросила Ольга Трофимовна. – Да, может быть мне просто кажется, а я не слышу этих звуков, – сказал Звонарев.

Нижний жилец разбежался и влетел со своим узлом в дверь бомбоубежища. За ним влетели туда и другие жильцы. Старухи сползли с лестницы на животах и ползли уже по полу к двери. По ним бежали взад и вперед крупные молодые женщины. Федя Кулаков топтался наверху и кривлялся, размахивая кнутом.

– Может быть, нам просто послышались эти звуки? – спросил Звонарев.

– Тебе вечно что-нибудь слышится, даже чего и нет, – ответила Ольга Трофимовна.

– Сочтем, что тревога уже прекратилась, – сказал Звонарев.

– Я сама бы это считала, но раз по-твоему это так, значит на самом деле не так, – сказала Ольга Трофимовна.

И в ту же минуту что-то загремело и с шипением и свистом рухнуло вниз. Жильцы повалились на пол, а нижний жилец, упав, накрыл спину своим узлом. Старухи лежали на животах, а сверху них лежали молодые женщины. Звонарев и Ольга Трофимовна упали друг на друга и не дышали.

Что же это было? Оказалось, что сверху свалился Федя Кулаков и сидел теперь на куче старух и молодых женщин. Он уже перестал шипеть и свистеть, не кривлялся и ничем не размахивал.

– Теперь я вижу, что нас разбомбили, – сказал Звонарев.

(Кн. 4. 33: 313–321)

Случай из жизни

– Раз меня позвали на именины, а я сказал, что не пойду. И тогда хозяйка спросила меня: «почему?», – рассказывал Пчеловодов.

– Интересно знать, почему же ты не пошел на эти именины, – спросил Серебров.

– Я этого не помню, – ответил Пчеловодов.

– Это что же, давно было? – спросил Серебров.

– Да, – ответил Пчеловодов, – это было давно.

– Ну, а что дальше, – спросил Серебров.

– Да ничего, – ответил Пчеловодов, – дальше уж было совсем другое.

– Я не понимаю, зачем ты мне рассказываешь об этом, – сказал Серебров.

– Просто я рассказал тебе случай из моей жизни, – сказал Пчеловодов.

(Кн. 4. 33: 322–324)

Голубое небо

Памяти Даниила Хармса

Какая-то девочка шла по мосту, опутив глаза и ресницы, на которых намерзли снежные ниточки. Эта девочка шла через мост и не видела, что рядом с ней идет человек в обыкновенной шинели, но с крыльями. – Стой, – сказал девочке этот человек, или, лучше сказать, этот ангел. Девочка остановилась, но не подняла глаз, потому что ресницы у нее крепко смерзлись и она все равно не могла бы посмотреть. – Кто ты такая? – спросил ангел. – Чья-то душа, – ответила девочка и села на снег, все не поднимая глаз. – А чья же? – спросил ангел. – Не помню и не знаю, да неужели это хоть сколько-нибудь важно, – сказала девочка. – А тело чье у тебя? – спросил ангел. – Тело уже почти растворилось и стало ничьим, – ответила девочка.

– Ты, значит, хочешь увидеть голубое небо? – спросил ангел.

– Конечно, – сказала девочка, – но я уже вижу его внутри, потому и не поднимаю глаз, так что нельзя назвать это неосуществимым желанием.

– Чего же ты хочешь? – просил ангел. – Двух вещей, – сказала девочка. – Во-первых, я хочу идти не по мосту, а по небу, а вторая вещь уже совсем другая.

Но об этой второй вещи не будет написано в рассказе, потому что мы все равно не сможем ее понять. Надо только прибавить, что девочка легла на снег, и ангел надел на нее свою шинель с крыльями.

Через некоторое время милиционер снес тело девочки в больницу.

– Как вы думаете, почему она умерла? – спросил врач.

– Истощение желудка, – ответил милиционер.

Если бы они подняли глаза, то увидели бы, что над ними стоит голубое небо.

(Кн. 4. 33: 338–342)

Семь железных книг

Семь железных книг, открытых на первой странице, лежали на полу, составляя фигуру семи. С другого конца той же комнаты к ним полз на коленях Мотыкин. Не доползая семи пядей, он снял все, что

было на нем надето и, оставшись в одних носках, положил по копейке в каждую книгу. Тогда книги стали с грохотом захлопываться и одна за другой исчезать, несмотря на то что были прикованы к полу железной цепью. Потом исчезла железная цепь, а за ней исчез пол. И стены, и двери, и комната, и самое здание тоже исчезли. У Мотыкина исчезли носки. Все это исчезло, не оставив никакого следа, и так как никто этого не видел, то никто об этом не знал, а если кто и видел, то это исчезло из памяти. Так что нельзя и понять, зачем было рассказывать здесь обо всем этом.

Я, по крайней мере, не могу подобрать никаких объяснений, кроме, конечно, одного, самого простого: все, о чем здесь рассказано, имело безусловное и совершенно неоспоримое существование.

(Кн. 4. 33: 343–346)

Людоеды

Козлов зарезал Орлова и пошел менять его тело на рынке.

А Макаров заколол Капралова и тоже пошел менять его на рынке.

Там Козлов и встретил Макарова.

– Что ты меняешь? – спросил Козлов.

– Мясо, – сказал Макаров. – А ты что меняешь?

– Тоже мясо, – ответил Козлов.

– Давай сменяем, – сказал Макаров Козлову.

– Хорошо, сменяем, – ответил Козлов Макарову.

Так вот и вышло, что Козлов сменял Макарову Орлова на Капралова.

Макаров съел Орлова, а Козлов съел Капралова, и оба при этом думали, что едят свиное мясо с горохом.

Вот, собственно говоря, и все происшествие, о котором я хотел рассказать.

(Кн. 4. 33: 347–349)

Китай

– Думаешь, Китай далеко, а он близко, – сказал Сучков.

– Какой Китай? – спросила Пихачева.

– Да всё воры кругом, – сказал Сучков, – как ни говори, а воров много. Один крадет, и другой крадет, а значит, и третий тоже крадет. Вот и получается, что воров очень много.

– Это ты верно говоришь, – сказала Пихачева, – я и сама замечала. Возьми хоть мою семью: у папы краденые носки, у матери очки краденые, а дети крадут один у другого козу, которую мы у бабушки увели. Сегодня Федька у Вани козу украл, а завтра Ваня у Федьки. Да и бабушка, наверное, где-нибудь украла эту козу. А прислуга крадет у этой козы молоко, так что нам ни одной капли не достается. Только причем же здесь Китай?

– Вишь ворье проклятое, – сказал Сучков, – я бы этим ворам за каждую штуку грязным корытом по голове. А ты еще говоришь – Китай нет. Уж ты себе там как хочешь, а Китай тут.

– Да причем тут Китай? – сказала Пихачева.

– Вот я тебе расскажу, как обокрали одного коня, – сказал Сучков, – начали с того, что крали у этого коня навоз и куда-то возили на этом же самом коне; ну, да это бы еще ничего, коню и не надо навоза. Но потом-то что дальше, то больше: украли седло, а там обкорнали шерсть и копыта и тоже украли, а потом и вся конюшня кому-то понадобилась, и кончили тем, что некий такой Конечников сожрал самого этого коня. Так вот и вышло, что был конь, а стало совсем не то; можно сказать, с навоза началось и навозом окончилось. Вместо коня теперь пустое место, да и того нет, потому что тоже уркали.

– Да кто это так крадет? – спросила Пихачева.

– Это я раньше думал, что Китай нет, а теперь он рядом, – сказал Сучков, – а что крадут, так я считаю, что все крадут. Уж раз один крадет, и другой крадет, так и третий тоже крадет. И получается, что все воры.

– А ты вор? – спросила Пихачева.

– Нет, – сказал Сучков, – я не вор.

– Ну, так и я не воровка, – сказала Пихачева, – я и не собираюсь ничего воровать. Я себе и так могу выпросить все что угодно. Я уж так пристану и так долго буду просить, что непременно мне все отдадут.

– Это другое дело, – сказал Сучков, – это законно.

– А Китай-то тут причем? – спросила Пихачева.

– Я ведь почему не краду, – сказал Сучков, – потому что все и так мое. Вот погляди: сапоги у меня краденые, сюртук тестя, тросточку я подобрал на кладбище, шапка с ушами Василия, прочее даже не помню откуда взялось, а если все вместе сложить, получается мое.

- Да как же так?– сказала Пихачева.
- Да очень просто, уж разве ты не понимаешь? – сказал Сучков.
- Так ведь это выходит, что ты самый первый вор и есть, – сказала Пихачева.
- Нет, – сказал Сучков, – это в Китае не так.
- Разумеется вор, – сказала Пихачева, – сюртук у тестя украл, тросточку у покойника, сапоги в казне, остальное тоже у кого-то украл. И коня-то, наверное, ты обокрал. Самый обыкновенный вор.
- Ты послушай, что я скажу про Китай, – ответил Сучков.
- И слушать нечего, – сказала Пихачева, – просто ты весь мир обокрал. Вор и больше ничего.
- Китай у нас рядом, – сказал Сучков, – я раз его видел в окно.
- Тоже, небось, украл, – сказала Пихачева.
- Нет, не украл, а только видел в окно, – сказал Сучков.
- Ну, что же? – спросила Пихачева.
- Да все то же самое, что у нас, только какая-то желтизна; и если как следует посмотришь, то видно, что ничего нет, – ответил Сучков.
- Как это ничего нет? – спросила Пихачева.
- Очень просто, – сказал Сучков, – я смотрел на двор и сначала вижу, что двор и валяются какие-то матрацы, а потом вижу, что желтизна и в ней решительно ничего нет, ни двора, ни матрацев, а если как следует подумать, так и меня самого тоже уж нет.
- Выходит, как будто украли, – сказала Пихачева.
- Просто желтизна, совершенно пустая желтизна, ну а все остальное как у нас, – ответил Сучков.
- Это и правда Китай, в нем все исчезает, – сказала Пихачева.
- Кругом Китай, – ответил Сучков и замолчал, посмотрев вокруг себя.
- И в самом деле, сквозь желтизну, в которой не было ничего, по стеклянным рельсам бесшумно шел трамвай, в котором сидели Сучков и Пихачева.

(Кн. 4. 33: 350–360)

Перечисление

Тут просто перечисляются разные вещи. Ничего с ними не случается. Птицы. Голоса. Снег. Пустые поля. Пустые реки. Пустые овраги. Кусты. Сундуки. Радуга. Лестницы ведущие в никуда. Мир видимый

в окно и мир видимый впотьмах и мир видимый в печке. Свечи. Подоконники. Сны. Вершины холмов. Вершины деревьев. Слова проходящие сквозь разные расстояния. Сани. Столбы. Очаги. Камни серьезные как пароходы. Числа. Двери. Корабли в лесу и корабли в церквах и корабли в морях. Полотенца. Колокола. Пирог.

Человек ходил разводя руками и тычась в стороны как слепой, а мысли с тихим стуком продолжали перечисление.

(Кн. 4. 33: 424–425)

Часы

Геннадию Гору

Написав страницу и промокнув ее кляксапапиром, Орлов посмотрел на часы. Они показывали без десяти минут семь.

– Это хорошо, – подумал Орлов и вновь стал писать.

Написав еще страницу и промокнув ее кляксапапиром, он снова посмотрел на часы. Они снова показывали без десяти минут семь.

– Стоят, – подумал Орлов.

В комнате была полная тишина. Орлов прислушался и услышал, что часы тихо тикают.

– Нет, идут, – подумал Орлов и снова склонился к бумаге. Не дописав страницы, он прислушался и снова услышал, как ровно тикают часы.

– Это хорошо, – подумал Орлов и вновь стал писать.

Страница летела за страницей и кляксапир уже почернел. Стояла полная тишина. Орлов промокнул страницу кляксапапиром и посмотрел на часы. Они показывали без десяти минут семь.

– Как видно, стоят, – подумал Орлов. Но в тишине хорошо было слышно, что часы равномерно тикают.

– Что это значит? – подумал Орлов. – Неужели я пишу так быстро, что часы не успеют сдвинуться с места, как я уж написал целую кучу страниц?

– Этого не может быть, – подумал Орлов, поднимая глаза к часам. Они показывали без девяти минут семь.

– Ага, значит идут, – подумал Орлов и снова принялся писать.

Опять страницы летели за страницами и еще один кляксапир почернел. – Ну, теперь посмотрю на часы, – подумал Орлов и промокнул страницу кляксапапиром. Но, когда он взглянул на часы, на

них было без девяти минут семь. Стояла тишина, и Орлов услышал, как спокойно тикают эти часы.

– Нет, не понимаю, – подумал Орлов. – Идут эти часы или стоят? Не может же быть, чтобы я так быстро писал.

Орлов поднял голову от бумаги и стал пристально смотреть на часы. На них уже было без восьми минут семь, а потом стало без семи минут семь.

Орлов не писал. Мысли бежали в его сознании, но он не писал. Он пристально смотрел, как движется часовая стрелка и слушал как тикают эти часы. Стояла полная тишина. И минуты шли за минутами.

– Что ты делаешь? – спросил Орлова вошедший к нему Светлов.

– Посмотри сколько я написал – ответил Орлов, – и пока я писал, часы почему-то не шли, то есть они показывали одно и то же время, а когда я стал смотреть на них и перестал писать, они пошли так быстро, что, кажется, не успеешь еще подумать, как минуты ушли за минутами.

– Я ничего не понимаю, – сказал Светлов.

– Нет, посмотри сколько я написал, – ответил Орлов, протягивая Светлову кучу страниц.

– Да тут ничего не написано, – сказал Светлов.

– Как ничего не написано? – вскричал Орлов, хватая свои страницы, и увидел, что это в самом деле чистая бумага.

– Но ведь я же писал, – сказал Орлов.

Стояла полная тишина. Тикали часы. Минуты бежали одна за другой. На столе лежало два клякспапира, почерневших и даже еще не совсем просохших.

(Кн. 5. 34: 208–214)

Разговор

Два человека сидели на стульях. Они говорили. Один из них был Капитанов, другой был Фролов. Они говорили. Я тоже тут был. Незамеченный ими, я слушал их разговор.

– У меня в голове бродят мысли, – сказал Капитанов.

– А ты их уйми, – ответил Фролов.

– Это полезные мысли, – сказал Капитанов, – если я их уйму, они пропадут.

– Ну и пусть пропадают, – ответил Фролов.

Они сидели на стульях. В окно было видно море. Они туда не смотрели, поглощенные спором. Я не стал слушать спора и, незамеченный ими, вышел из комнаты.

– Они говорят глупости, – думал я. – Не все ли равно, какие мысли бродят у них в голове. И не все ли равно, пропадут эти мысли или нет. Ведь мысль – это просто сцепление слов, которые потом расцепятся и снова сцепятся с другими. А сцепления слов, которые называются мыслями, сами сцепляются между собой и образуют сцепления мыслей. Они тоже могут потом расцепиться и снова сцепиться с другими. И весь мир это просто сцепление, которое может потом расцепиться и неизвестно с чем сцепиться.

– Да, это так! – думал я, глубокомысленно сидя у моря. Потом я тихонько поднялся и снова пошел туда, где сидели Фролов и Капитанов. Незамеченный ими, я слушал их разговор.

– Когда я жил в деревне, – сказал Капитанов, – я заметил, что многие бабы носят на плечах коромысла. Это очень выгодно изменяет походку.

– Да, это мысль! – ответил Фролов.

– И еще я заметил, – сказал Капитанов, – что муравьи собирают всякий мусор и делают из него муравьиный спирт.

– Это полезное дело, – ответил Фролов.

– Я считаю, что многое в нашей жизни зависит от законов природы, – продолжал Капитанов. – Надень очки: ты увидишь, что все предметы вокруг тебя начнут шевелиться. Это очень противно.

– Ну, это уж глупости, – сказал Фролов.

– Да, это глупости, – подумал я и, незамеченный ими, ушел. Я опять вышел к морю и сел на камень в задумчивой позе. Но на этот раз мне ничего не пришло на ум. Я сидел и смотрел как огромное море наполняет собой горизонт. Было тихо, воздух был пуст, и море казалось мне тоже пустым.

– Это все равно, – думал я. – Пусто ли море или не пусто, это совершенно все равно.

Я встал и вернулся туда, где сидели Фролов и Капитанов. Я стоял за дверями и, неизвестно почему, печально вздыхал. В комнате слышались голоса. Никем не замеченный, я тихо вошел и стал слушать их разговор.

– Птица это не то, что аэроплан, – говорил Капитанов. – У нее нет никакого специального приспособления. Но все-таки она летает.

– Значит у птицы это врожденное, – ответил Фролов.

– Да ведь это все равно! – громко сказал я.

Все сразу стихло в комнате и, подняв глаза, я увидел, что ни Фролова ни Капитанова нет. Стояли два стула. Они были пусты. Комната была пуста. Как видно, Фролов и Капитанов незаметно для меня ушли. А может быть, их и не было вовсе. Я стоял посередине комнаты у стульев и мысли бродили в моей голове.

– Ну, ладно, – сказал я себе, – пускай мысли бродят у меня в голове. Я их уйму. Пусть они пропадают. Это все равно. И были ли здесь Капитанов и Фролов или нет, это тоже все равно.

И действительно, это совершенно все равно, если правда, что все на свете просто сцепление, которое может потом расцепиться и снова сцепиться с чем угодно другим.

(Кн. 6. 34: 470–476)

Человек в зеленых очках

По зеленому полю шел поезд. В нем обычно ездили дачники, но на этот раз их не было. Вагоны шли почти совсем пустые. Моргунов сидел на скамейке в пустом купе и смотрел в окно. Было поздно. Наступали сумерки. Зеленое поле стало темнеть. Вскоре зеленого цвета уже нельзя было видеть. Моргунов отвернулся от окна, потому что все равно было бесполезно смотреть, и поглубже уселся в угол скамейки. Внутри вагона было темно. Моргунов почти ничего не видел. Но тут ему показалось, что в другом конце купе что-то блестит.

– Что это? – подумал Моргунов и стал пристально вглядываться в тот угол купе. Две блестящие точки то исчезали, то снова поблескивали пред ним. Когда глаза Моргунова несколько привыкли к потемкам, он разглядел какие-то очертания, похожие на человеческую фигуру.

– Там кто-то сидит, – подумал Моргунов. – Странно, что я не заметил, когда он вошел. Ведь купе было пусто. Должно быть, это случилось, пока я смотрел в окно. Теперь я не знаю даже кто со мной – мужчина или женщина.

Поезд шел по бесцветному полю. В окошко ничего не было видно. Колеса громко стучали. В купе было пусто. Но Моргунову показалось, что его спутник тихонько поет. Слов нельзя было разобрать и мелодия была тоже непонятна, но голос, во всяком случае, был мужской.

Моргунов набил трубку и похлопал себя по карманам, разыскивая спички. Но в карманах ничего не нашлось.

– Простите, – сказал Моргунов, обращаясь в тот угол. – Не найдется ли у вас огонька?

Пение стихло и две точки блеснули в сторону Моргунова.

– Пожалуйста, – ответил ему человек из угла. – Я тоже курю трубку. Пожалуйста закурите.

– Как вы увидели в такой темноте, что у меня трубка? – спросил Моргунов.

– А я в очках, – ответил ему человек из угла.

– Вот это что блестит! – подумал Моргунов.

Спичка вспыхнула зеленым огнем, но Моргунову не удалось разглядеть своего собеседника. Он увидел, что зелеными пальцами тянет к огню зеленую трубку, а кругом стоят зеленые стены и скамейки купе.

Человек из угла задул спичку и снова стал потихоньку петь. Но слова его песни невозможно было разобрать и мелодия тоже была непонятна.

– Простите, – сказал Моргунов. – Что вы поете? Я ничего не понимаю.

Человек из угла не ответил и продолжал петь.

– Извините, – сказал Моргунов. – Почему вы сказали, что в очках вы видите мою трубку? По-моему, в таких потемках очки совершенно не помогают.

Человек из угла не ответил ни слова. Он по-прежнему пел. Моргунову стало не по себе.

– У вас очень странные спички, – сказал Моргунов. – Когда вы зажгли, мне показалось, что все вокруг стало зеленым и даже пальцы у меня стали зелеными.

Человек из угла блеснул на Моргунова очками.

– Это вполне понятно, – отвечал он. – Я в зеленых очках. Я вас вижу зеленым. Вокруг меня существует зеленый мир.

– Но позвольте, – сказал Моргунов. – Это ведь вы в зеленых очках. Почему же я, именно я, увидел, что вокруг меня все зеленое?

Человек в зеленых очках засмеялся.

– Это пустяки, – сказал он. – Это еще сушие пустяки. Вы можете видеть гораздо более странные вещи.

– Он сумасшедший, – подумал Моргунов. – А я с ним один в пустом вагоне. Надо уйти отсюда. Может быть, он меня убьет или сделает что-нибудь страшное. Или это, может быть, я сам сошел с ума?

Человек в зеленых очках долго смеялся в своем углу. Потом он снова тихонько запел. Поезд шел без остановки. Колеса громко стучали. В окна ничего нельзя было видеть. Было темно. Человек в зеленых очках встал и Моргунов сейчас же поднялся и встал против него.

– Сядем в траву, – сказал человек в зеленых очках, опускаясь на пол. И Моргунов послушно сел рядом с ним.

– Вы чувствуете траву? – спросил человек в зеленых очках, и тотчас же Моргунов почувствовал, что вокруг него поднимается высокая свежая трава.

– Теперь мы будем думать, – сказал человек в зеленых очках. В уме Моргунова поплыли мысли, в которых он ничего не мог разобрать, а потом они все исчезли и Моргунов увидел со страшной ясностью, как по зеленому полю без остановки движется поезд и два человека лежат на полу пустого вагона.

– Кто из них я? – успел подумать Моргунов и вдруг почувствовал, что он поет, но только сам не может понять слова своей песни и не разбирает ее мелодии.

Внезапно поезд затормозил и в окнах замелькали зеленые фонари на дебаркадере. Моргунов увидел, что он сидит у окна, в углу скамейки, а напротив него стоит, закуривая трубку, человек в зеленых очках. Зеленый огонек спички осветил пустое купе и зеленый дым поплыл к потолку. Поезд остановился и человек в зеленых очках направился к выходу. Моргунов тоже встал и направился вслед за ним.

– Простите, – сказал Моргунов, – я хочу спросить вас кое о чем.

Человек в зеленых очках не ответил и соскочил на перрон.

– Вы многое можете, – сказал Моргунов, – вы показали мне зеленый мир. Теперь я должен спросить вас об одной очень важной вещи.

Человек на мгновение повернул к Моргунову лицо в зеленых очках и не останавливаясь пошел вперед.

– Одну минуту! – закричал Моргунов. – Подождите одну минуту. Мне необходимо узнать страшно важную вещь.

Человек в зеленых очках ничего не ответил. Он шел не торопясь, но Моргунову приходилось бежать за ним бегом.

– Скажите! – закричал Моргунов, – ваш зеленый мир – это и есть бессмертие?

Человек в зеленых очках молчал. Они дошли до высокой решетки, отделявшей вокзал от городской улицы. Через мгновение Моргунов увидел, что человек в зеленых очках идет уже за решеткой. Мор-

гунов ахнул и побежал в обход к воротам, стараясь ни на минуту не упустить из глаз человека в зеленых очках. Тот шел уже по улице. Он уходил все дальше и дальше. Запыхавшись, Моргунов подбежал к нему и схватил его за рукав.

– Скажите же! – закричал Моргунов, – существует бессмертие?

Человек повернул к нему лицо без очков и Моргунов увидел, что это совсем не тот, с которым он только что ехал.

– Проваливай, гражданин, – сказал Моргунову этот человек и скрылся в ближайшем подъезде.

Моргунов остался один.

Улица была пуста.

Зеленый фонарь висел под воротами.

В окнах было темно.

Из-за угла тихо выехал грузовик, осветил улицу зеленым лучом и бесшумно проехал.

Моргунов постоял на месте, вздохнул и побрел, сам не зная куда.

(Кн. 7. 35: 502–514)

Поэзия и правда

М. Н. Ржевусской

Стояла весна. Снег таял. Под окнами шел старик. Я поглядел в окно на этого старика и мне показалось, что на спину к нему вскочил гусь, который стал клевать ему голову. Но старик, не обращая внимания, шел вперед. Он прихрамывал и опирался на палку. Шагая по лужам, он приближался ко мне. – Что за чушь, – подумал я. – Как неприятно на это смотреть! Я ушел от окна, сел в кресло, закрыл глаза и стал думать. Я думал, что мне совершенно не нравится весна, светящее солнце и грязный снег, на котором появляются нелепые зрелища. Например, вот этот старик. Это, наверное, нищий. Не может быть, чтобы там был гусь. Это мне показалось. Это ерунда.

Солнце светило в комнату и я почувствовал, что его лучи ложатся мне на лицо. Я еще больше зажмурился и перестал думать. Все-таки очень приятно, когда весеннее солнце сквозь окна светит вам прямо в лицо. Становится жарко и совершенно исчезает охота двигаться. Я сидел неподвижно и, кажется, мне хотелось дремать. Потом я почувствовал, что на спину мне вскочил гусь и клюет мою голову. Но

это совершенно не было больно. Я не обращал внимания и шел вперед. Я прихрамывал и опирался на палку. Я прихрамываю с тех пор, как меня ранили на войне. Я хромой. Но я не старик. Я не нищий. Это мне показалось. Это все ерунда.

Я хотел встать с кресла и открыть глаза, но не было никакого кресла и мои глаза были все время открыты. Я шагал по лужам. Я видел, что стоит весна и тает снег и в окна ближнего домика светит солнце. На спине у меня был не гусь, а котомка, какой-то белый мешок, и в нем лежали сухие куски, которые мне подают из окон. Я старик. Я нищий. Когда-то меня ранили на войне и с тех пор я хожу, опираясь на палку. Я шел к окнам ближнего домика, чтобы мне там подали что-нибудь.

Мне было жарко. Зажмурив глаза, я неподвижно стоял и солнце светило мне прямо в лицо. В комнату вбежала моя жена и бросилась в кресло. Там было одно только кресло и я в нем сидел. Как она могла туда сесть, если там уже был я? Разве оно было пусто? Нет, я стоял у окна. Мне хотелось, чтобы солнце не падало на жену, я нарочно встал у окна, чтобы ее заслонить, но солнце проходило насквозь, как будто меня тут и не было, и светило ей прямо в лицо. Жена с неподвижной улыбкой зажмурилась и перестала шевелиться.

Я посмотрел в окно. Таял снег. Под окнами шел старик. Это был не я. Это был нищий. На спине у него был белый мешок. Меня вовсе не было. Вот что случилось со мной.

Это случилось со мной. Но где же был я? Нет, это случилось, но не со мной. Где был я? Но это случилось, и совсем не со мной. Теперь я не знаю, где я. Что случилось? Почему же я – это совсем другой человек, не старик и не нищий, не жена и не я, и все-таки я, тот самый, кто смотрит в окно и пишет эти слова?

(Кн. 7. 35: 515–520)

Поэт и герой (Рождественский рассказ)

В сорокаградусный мороз, когда воздух становится чистым и прозрачным, через людную площадь пробирался старичок, закутанный в шубу и обвязанный башлыком. Он шел за газетой. От страшно-

го холода очки этого человека замерзли, а с ног поминутно валились калоши. Они были ему велики. Невидимо для старичка я следил, чтобы его не сбили с ног и не переехали на этой людной площади. Иначе бы он пропал, потому что решительно ничего не видел сквозь замерзшие очки, а вдобавок еще путался в своих огромных калошах. Он к ним никак не мог приноровиться. Грузовики объезжали вокруг старичка, сворачивая перед самым его носом. Однако это было совсем не опасно: невидимо для старичка, я все время шел рядом с ним. Но потом это мне надоело, потому что он плелся слишком тихо. На самой середине площади я легонько толкнул его в спину, а сам отбежал. Ноги старичка в огромных колошах сейчас же разъехались и старичок довольно грузно сел в снег. При этом башлык у него развязался и шуба распахнулась, а с носу слетели очки. Какой-то грузовик отчаянно затормозил перед сидящим старичком, а шофер обозлился, высунул голову в дверцу и выругал старичка подлецом. Но я снова невидимо встал рядом с ним и грузовики со свистом стали объезжать нас по кругу. Старичок сидел, стараясь отыскать очки, и бормотал, что в такую страшную гололедицу и в мороз не надо было вовсе выходить из дома за паршивой газетой, которую все равно невозможно читать. И что теперь он потерял очки, а без них ему как без рук. И даже хуже: без очков ему как без головы. А найти никак нельзя, потому что если он встанет, то из-за проклятых галош сию же минуту снова свалится. И что, может быть, это даже и бесполезно, потому что очки, наверно, переехал какой-нибудь грузовик из тех, которые здесь шныряют. И что ему это, в конце концов, безразлично, и он великолепно может остаться здесь сидеть, раз уж все равно не достал газету и потерял очки.

– Боже мой, как он долго бормочет! – подумал я. – Он, видно, совсем не понимает, что упал на проезжей площади, что сейчас лютый мороз, а башлык него развязался и шуба распахнулась, и что он в любую минуту может замерзнуть насмерть или погибнуть под колесами автомобиля. Что же он понимает? Он, должно быть, способен понимать совсем другие вещи.

Я нагнулся к старичку, невидимо взял его за подбородок и повернул лицом вверх.

– Какой прозрачный воздух! – сказал я старичку, чтобы отвлечь его от очков. Но я был невидим, и старичок, должно быть, решил, что эти слова сами пришли ему в голову.

– Воздух действительно прозрачен, – подумал старичок. А я читал его мысли, как свои. – Все застыло, стало хрупким и прозрачным,

как видение. Без очков я различаю теперь в этой прозрачности все предметы. Воздух колет меня как иголками. Лед и камень тоже колются как стекло и даже такая косная материя, как трамвайный столб, и тот колется как стекло. Если бы сейчас встряхнуть это все или даже просто очень громко хлопнуть в ладоши, то все видение рухнет и расколется и останется только груда острых осколков.

– Ну-ну, – сказал я старичку, – этого не может быть.

– Отчего же? – ответил старичок на мои слова как на свои собственные мысли. – Отчего же? Мы этого не знаем, но это очень может быть.

– Тогда хлопни, – сказал я.

– У меня слишком слабые руки. И это ничего не доказывает, – ответил себе самому старичок.

– А если все стало прозрачным, то почему мы не видим сквозь вещи? – спросил я.

– Почему же не видим? Я вижу. Я различаю сквозь стенку грузовика, который нас объезжает, что в нем лежит промерзшая туша заколотой лошади, а сквозь мускулы и жилы этой туши я различаю замерзший комочек духа, но он уже не прозрачен, потому что принадлежит другому миру, – с глубокой серьезностью сказал старичок и посмотрел на меня.

– Так может быть он и меня видит, хоть я и невидим, – подумал я со страхом.

– А что ты еще насквозь видишь? – робко спросил я.

– Тебя! – строго и важно сказал старичок и вдруг легко поднялся и пошел прочь. Он быстро удалялся в своих огромных калошах, как будто плыл по воздуху, и еще продолжал бормотать себе под нос, но я уже не различал его слов. Я рванулся за ним, не понимая, что же такое произошло. Вокруг нас уже не было ни площади, ни скользящих грузовиков. Только холод и страшная прозрачность, в которой не было ни света ни темноты, окружали меня и старичка. И в этой пустой прозрачности старичок понемногу становился тоже прозрачным и вскоре сделался невидим для меня.

А на площади давно уже стояла толпа вокруг неподвижного старичка в башлыке и громадных колошах, который сел на снег и, как видно, сразу же задохнулся. В толпе говорили, что у него сердце не выдержало сорокаградусного мороза.

– Он замерз, как рождественский мальчик, – сказал какой-то хмурый прохожий и, нечаянно наступив на очки, лежавшие в стороне,

с хрустом раздавил их. В снегу осталась маленькая горсточка острых стеклянных осколков.



Вот что я наделал! А разве я хотел этого? Я хотел только пошутить и немного поумничать и показать занятого добродушного старичка, у которого потерялись очки. Все должно было хорошо кончиться. А вот что вышло! Я не знал, что смерть так близко стоит и так легко приходит. Я не знал, что не поэт управляет судьбой своего героя, а сама судьба ведет за руки их обоих, невидимая поэту, но, может быть, ощутимая для героя, если в самом деле в нем есть комочек духа, который ведь я же, поэт, отрываю от себя и вкладываю в него. И тогда судьба расправляется с ним, как хочет, не слушая моих желаний и превращая героя в нечто, может быть, большее, чем сам поэт.

(Кн. 8. 35: 612–622)